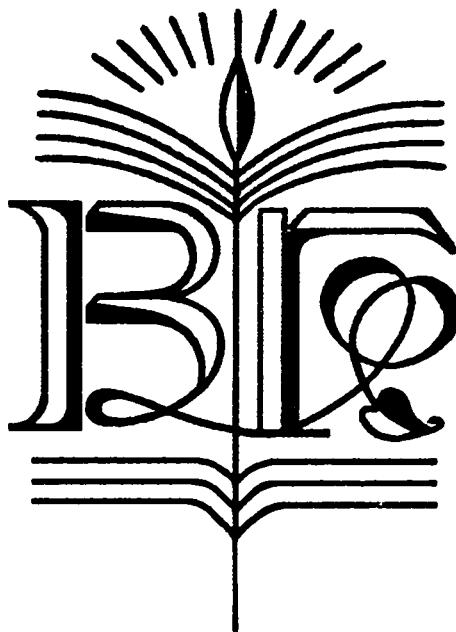


ВИКТОР ГУРА •

УЧЕНЫЙ И
ПИСАТЕЛЬ





Вологодский институт повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров

ВИКТОР ГУРА —
УЧЕНЫЙ
И ПИСАТЕЛЬ

Вологда
1997

ББК 83

Гур 95

Составители: *И. В. Гура, Ю. М. Леднев, И. Д. Полуянов.*

Редактор *В. В. Судаков.*

Сборник выпущен к 70-летию со дня рождения писателя, критика и литературоведа — профессора филологии Виктора Васильевича Гуры. В книгу вошли не изданные при жизни работы, воспоминания о нем. Публикуются и некоторые письма, полученные писателем, свидетельствующие об огромной и разносторонней работе литератора и ученого.

ISBN 5-87590-019-9

© Издательство института повышения квалификации педагогических кадров,
1997.



О ПРЕДКАХ, ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ И О СЕБЕ (Из автобиографии)

И сам я, и мои родичи, и все, кто рос со мною в заволжской степи под палящим солнцем, представляли “холодные края” весьма смутно. Когда мне было лет пять, у взрослых появилась привычка пугать ребятишек этими краями, особенно какими-то “Соловками”, куда нас могут отправить за непослушание. Но нам от этого не становилось ни жарко ни холодно, а в “страшном” слове “Соловки” ничего, кроме соловьиного пения, мы не слышали...

Вологда — названия такого города никогда, кажется, не произносили даже наши всезнающие учителя. В дни детства я и думать не мог, что лучшие годы свои отдаю этому городу, встречу здесь свою зрелость. В Вологде суждено мне было впервые выйти на кафедру и познать тоскливое ощущение неуверенности, когда впиваются в тебя десятки глаз и, насторожившись, ждут студенты, что же ты можешь им сказать... Здесь я встретил и горькие, и радостные дни, пережил тяжкие послевоенные годы, мучительные раздумья за чистым листом бумаги в холодные зимние вечера и в летние белые ночи. Вологда стала родиной моих детей. Вместе с ними, коренными вологжанами, полюбил я красоту совсем и не угрюмых северных лесов и тихих полей под низким небом. Мне по душе спокойное северное лето и узорная, безметельная, в кружеве инея, зима. Иной раз кажется, что вся милая сердцу древняя величавая Русь пошла вот отсюда, от этих затерявшихся в лесах старинных крестьянских изб с их медлительными, песенно окающими жителями...

У каждого человека есть, однако, самое дорогое на земле. Оно там, где прошло его детство. Есть такое место и у меня. Правда, от

дома, где родился, остался лишь песчаный, поросший бурьяном холм. Совсем рядом плещутся волны новой Волги, под ними улицы, по которым бегал босиком, водил нехитрые детские игры.

Белобрысому и босоногому, прокаленному южным солнцем беспечному детству невдомек было интересоваться своими предками. Мы днями пропадали на пыльных, поросших лебедой улицах когда-то богатой, знаменитой своими ярмарками, хлебом и солью заволжской слободы Николаевской. Спины наши становились иссиня-черными от волжской воды и солнца, губы лупились от степного сухого ветра, волосы выбеливались до цвета льняной пакли.

Уже взрослым я узнал, что дальние предки наши — русские, украинцы, даже донские казаки — бежали за Волгу и прочно обосновались здесь, еще в стародавние времена. Сама царица Елизавета призывала “охочих людей” разрабатывать соляное озеро Эльтон. Кто знает, может быть, среди этих людей был могучий чумак по прозвищу Гура, а прозвище это перешло к нам уже как фамилия? Может быть, он и прокладывал “со товарищи” из Слободской Украины в середине XVIII века новую дорогу от Эльтона к Волге в соляные пристани и “магазейны”?

Вспоминается тут же семейное предание о деде моем Гавриле, изрядно послужившем своему отечеству в царском флоте. Был он мужик дюжий, рослый, крепкого сложения — чуть ли не сажень в плечах, а кулаки у него были просто страшные. Однажды не сошелся характером дед Гаврила с прочно стоявшим на ногах коренастым английским матросом, и дед в каком-то приморском кабачке так врезал этому матросику в левое ухо, что из правого кровь брызнула... Не знаю, много ли правды в этом семейном предании, но отец мой с большой охотой и гордостью рассказывал об этом, может быть потому, что сам уже такой силы не имел. Мне же до сих пор кажется, что деды моего деда были люди богатырского склада, былинной силы. Не получили ли они потому некогда прозвище, связанное с горной мощью природы...

Прадеда своего — угрюмого кряжистого мужика, мастера на все руки, я еще застал в здравии. Он прожил сотню лет, и только голодный 1933 год скосил этого еще крепкого старика. Петро Данилович имел пятерых сыновей и троих дочерей. По старшинству дед Гаврила был вторым среди них. Хозяйство у деда было совсем бедное.

Семнадцатилетнему отцу моему — он женился в тот год на дочери кучера купца Алтухова — пришлось сложить где-то на окраине слободы глиняную хатку и начинать самостоятельную жизнь, нанимаясь на поденную работу даже к своим родственникам. Чуть ли не каждое лето батрачила у Орыныча и мать моя, Анна Андреевна, а бабушка, Александра Ивановна Бережная, родилась в степи, выросла там и нигде дальше Николаевской слободы не бывала.

Отец мой оказался завзятым крестьянином, сыном земли. Всю жизнь он тосковал по ней и радовался, когда оказывался в степи, в родной стихии. Был он по тем временам человеком грамотным в отличие от матери, которая две зимы посещала ликбез и едва научилась расписываться. С успехом окончил отец церковно-приходскую школу, много учился в советские годы. Он был счетоводом первого и самого крупного в нашем районе колхоза “Динамо”, бухгалтером в колхозе “Комсомолец”, а перед войной преподавал счетное дело в специальной школе. Об отце мне доводилось слышать много добрых слов от самых разных людей. Летом 1942 года он погиб на како-то придонской речушке, оставшейся для нас безымянной, когда наши войска поспешно отходили на Воронеж...

Родился я в первый день жаркого июня 1925 года и сразу же стал старшим сыном в семье. И до меня были дети, но они умирали в голодные на Волге годы. Смутно помню нэповское время, когда и в Николаевской слободе вовсю процветала частная торговля. Вновь стали собираться шумные ярмарки, привлекая массу заезжих людей. Степной городок наш пестрел в это время причудливо разрисованными балаганами, ларьками, палатками, торговыми тележка-

ми. Торговля шла чуть ли не на всех бойких улицах. Вертелись под музыку причудливо расписанные карусели, вздымались вверх, в самое небо лодки качелей. Не обходилось и без цыган с медведями. А на центральной площади устанавливали самый настоящий цирк под парусившей крышей. Отец брал меня на эти красочные, полные людского гула, зрелица.

Ездил я с отцом и по степи, когда объезжали дальние паровые мельницы. Где мы только не побывали с ним за одно это лето! Вечно не забыть мне пережитого тогда, переполнявшего меня и навечно оставшегося во мне восприятия огромного солнечного мира, бесконечного простора, невероятно голубого, почти прозрачного неба над головой. И мы с отцом — одни в степи. Вокруг словно бы все вымерло — ни единого домика, ни одной живой души, ни звука, только назойливо жужжат в сухом знойном воздухе какие-то большекрылые мухи...

И вдруг вдали острыми темными зубцами врезываются в небо тополя. Резвее бежит наша лошаденка, прядет ушами, чувствуя жилье. Тополя, как желанный оазис в пустыне, все ближе, ближе, и мы подъезжаем к обсаженному ими квадрату сада. В его прохладе — чистенький выбеленный домик, а рядом глубокий колодец, вода в котором такая, что зубы ломит.

Как-то неожиданно, раньше срока, пошел я в школу. Мой сосед Володя Ляшенко раздобыл для меня толстенный “Букварь колхозника” и за руку отвел в первый класс. Когда об этом узнали родители, махнули рукой: пусть учится. И я учился каждый год в разных школах. Когда ходил в четвертый класс, школа стояла на отшибе. За ней сразу же начинались бугристые пустыри, сливавшиеся со степью. С весны играли на этих пустырях в лапту, в бабки, и не было большей радости, когда от меткого удара свинчаткой целый кон валился, как срезанный. Домой тогда возвращался с выпиравшими, полными кознов карманами да еще и картуз набивал ими доверху.

В четвертом классе сидел уже не первый год Иван Сивко. У ершистого и коренастого волевого степняка рано появились недетские заботы. Он начал зарабатывать на хлеб, занялся сапожным ремеслом. Оглядываясь назад, мы все чаще видели, как пустовала его последняя парты. Когда во время войны матрос Северного флота Иван Сивко бросил под себя связку гранат, бросил так, что вместе с ним погибли окружившие его на сопке фашистские солдаты, — я не удивился. Иван мог поступить только так, мужественно и решительно. Посмертно он стал Героем Советского Союза.

Величественная Волга и раздольные заволжские степи были нашей матерью-родиной. Мы любили ее самозабвенно. Сотни самых честных, самых скромных, нравственно цельных, богатых душою ребят отдали вскоре жизнь за эту нашу родину. Теперь только поблекшие от времени фотографии хранятся у очень пожилых родителей рядом со скорбными строками извещений о гибели их сыновей. Скоро и эти реликвии некому будет хранить...

А пока жаркими днями пропадали мы на озере Песчаном, на мосту через Воложку, ездили на бешеный Ерик, ловили подпусками чехонь на Волге. Сережка Осьмак и Гешка Синельников составляли из нас “оравы” своих воинственных отрядов и водили в такие всамделишные “бои”, что, кажется, не было в слободе улицы, где бы не раздавалась отчаянная стрекотня трещоток, приспособленных к нашим деревянным пулеметам. С майором Осьмаком встретился я, можно сказать, почти в самом “фашистском логове”, в поверженной Пруссии. Служили мы потом в одной дивизии, участвовали в боях с Японией на Дальнем Востоке. Теперь он генерал, хотя уже и не водит полки.

В школу колхозной молодежи поступил я в тот год, когда ее преобразовывали в среднюю. Она носила имя Парижской коммуны. Мы переписывались с французскими рабочими. А сколько было в те годы замечательных ребят в нашей школе — толковых, мужественных, горячих, полных неистребимого комсомольского задора!

Они умели жить интересно, все делали своими руками. Мы завидовали им и многое перенимали: ставили спектакли, ходили в походы, состязались в спорте, выпускали свой рукописный журнал.

Читали мы буквально запоем, ночи напролет. Кто не увлекался в детстве Жюль Верном, Дюма, Майн-Ридом, Дефо, Стивенсоном... Кино, правда, не всегда было для нас доступным, и все-таки мы находили свои лазейки, десятки раз смотрели "Чапаева" и "Красных дьяволов". Мы жили испанскими событиями борьбы с фашизмом (один из нас, Борис Золотарев бежал из дома, пробрался в Одессу, и его извлекли уже из трюма отходившего в Испанию парохода), спасением челюскинцев и дрейфом папанинцев, полетами Чкалова и рекордами стахановцев. Юные романтики, мы вдохновенно мечтали о своем будущем, при всех причудах нашей фантазии всегда разделенном с судьбою Родины. Мы жили тем, чем жила страна, писали восторженные стихи об индустриальных наших победах, о мощи нашей армии, рвались сами служить в авиации...

Наши первые стихи, рассказы и очерки, в том числе и мои, стали появляться в сталинградских молодежных газетах. Частенько печатался я и на страницах николаевской "Колхозной стройки". Мы с Шуркой Красильниковым мнили себя поэтами, хотя, наверное, так ни разу и не задумались над сложностью этого труда. На землю опустил нас Михаил Александрович Шолохов, когда мы принесли ему свои детские стихи и рассказы.

Война ворвалась в наши незащищенные от правды сердца, разметала детские иллюзии и заставила проходить суровую школу. Слободу нашу наводнили войска, формировались здесь донские и кубанские казачьи полки, маршевые пехотные батальоны, стояли моряки-зенитчики, а когда война подступила к самой Волге, пришла 13-я Гвардейская дивизия генерала Родимцева. Той осенью как-то офицер из этой дивизии и отвез меня в университет в Саратов. Я стал студентом-филологом.

Для всей страны и для каждого из нас время было трудное, тревожное. Совсем рядом, в Сталинграде, шли кровопролитные бои

за каждый дом, за каждую пядь земли чуть ли не у самого берега Волги. Саратов был забит войсками, госпиталями, беженцами. Трамваи ходили накренившись, подножки и буфера были облеплены людьми, ездили даже на крышах. Мы не столько учились, сколько рыли окопы, помогали ближним колхозам, разгружали на товарной станции пыльные вагоны с заморской соей. Жили на Цыганке, на бывшей табачной фабрике. Жили голодно и холодно. И все-таки мы бегали во МХАТ, занимали галерку в театре оперы и балета, спорили о литературе, не пропускали лекции, если их читали В. Е. Евгеньев-Максимов, Г. А. Гуковский, В. Я. Пропп, И. М. Тронский, Б. М. Эйхенбаум; я в это время с увлечением занимался у профессора С. Д. Балухатого источниковедением.

Многие из моих товарищей по школе уходили в армию из родной слободы и оказались в Астраханском пехотном училище. Потом мне кто-то рассказывал, что училище это было брошено в бой в трудное для Сталинграда времена. Там, на порушенных, забитых кирпичом и щебнем улицах, на склонах Мамаева кургана и полегли многие из моих товарищ — Марик Перепелов, Юрий Осьмак... Бывая теперь на Мамаевом кургане, я всякий раз ищу, ищу, ищу в бесконечных столбцах фамилии моих товарищ. Уходят эти имена под самый купол, где и разглядеть их невозможно, напрягаясь до головной боли. Уже на выходе бьет в глаза солнце и осеняет слабое утешение — разве можно всех погибших переписать...

В самом конце 1942 года пришел черед и мне идти в армию. Поначалу служил красноармейцем в артиллерийском полку, стоявшем за Волгой в Пугачеве, а в начале 1943 года перевели меня в Разбойщину, что под Саратовом, и зачислили курсантом 2-го Киевского арт-училища, которое впервые в стране начинало готовить офицеров самоходной артиллерии, стало потом краснознаменным и носило имя М. В. Фрунзе. Окончил я его в октябре 1943 года с отличием, с правом выхода в гвардию и вскоре принял участие в боях на Первом Украинском фронте у самого Корсунь-Шевченковского котла.

Не забыть никогда мне медленно наступавшее хмурое утро 31 января 1944 года, когда на мою самоходку, стоявшую в одиночестве у линии железной дороги под Липовцом, обрушился шквальный огонь шести прорвавшихся немецких танков. Впятером мы отбивались до последнего снаряда и подбили пять вражеских машин. Я был тяжело ранен, не чувствовал ног, подтягиваясь на руках, с трудом вывалился на подтаявший вокруг самоходки горячий снег. Мой обгоревший механик-водитель на руках вынес меня с поля боя. Потом вывозили на студебеккера из “глубокого мешка”, в который мы попали. Только к рассвету другого дня оказался я в полевом хирургическом госпитале 2-й танковой армии. Долго лечился после того в Курске и Ашхабаде, служил в Ташкенте, под Москвой и снова воевал уже на Третьем Белорусском фронте. Нас не встречали здесь цветами, не бросали их под ноги, как освободителям Праги. Каждый километр, пройденный по Восточной Пруссии, давался с боем. На одном из фольварков горько рыдала бедная скотница, наслышанная об окружении гарнизона Бреслау, где оказался и ее муж. Видел под Кенигсбергом, как изможденные старик и старуха выковыривали из земли брюкву и тут же с жадностью поедали ее. Когда я приблизился к ним, чтобы спросить, куда нас выведет дорога, они испуганно подняли руки и дружно выкрикивали: “Гитлер капут!” Что и говорить, это был конец войны.

День Победы мы встречали в эшелонах на московской окружной железной дороге. Эшелоны нашей Пятой армии двигались на восток. Когда оказались за Уралом, поняли, что война для нас не кончилась. Два месяца просидели в сопках на границе севернее Гродеково и каждый день наблюдали, как суетились, нервничали когда-то воинственные самураи. Темной августовской ночью передовые дивизии нашего Первого Дальневосточного фронта вступили в Маньчжурию. В составе этих войск, громивших японских милитаристов, находился и я, был награжден вторым орденом Красной Звезды. После этой победы служил еще в Муданьцзяне помощ-

ником начальника штаба артиллерии дивизии, скитался по частям Приволжского военного округа и только в январе 1946 года вернулся на филологический факультет Саратовского университета.

Надо было зубрить латынь, учиться читать по-французски, постигать трудную историю родного языка... В это время студенты до отказа набивали аудиторию, в которой Г. А. Гуковский читал теорию литературы вдохновению, я бы даже сказал, кокетливо, опираясь преимущественно на пушкинского "Евгения Онегина". Мы начинали вдумываться в психологически тонкие наблюдения А. П. Скафтымова в его лекциях о Льве Толстом, любили сочные рассказы М. Н. Бобровой о зарубежной литературе, выступали с научными докладами, проводили творческие вечера, а в общежитии спорили до хрипоты. Не только прилежно учились, но и думали. Александр Сукинцев уже тогда был знаменит своим юмором и вскоре блестяще выступил как фельетонист. Евгения Никитина, Борис Видищев, Леонид Долгополов, Евгения Куликова пошли в науку, как, впрочем, и десятки других сокурсников, фамилии которых я нередко встречаю в научных журналах и даже на обложках солидных монографий.

Предложили и мне аспирантуру, но я вынужден был с сожалением расстаться с университетом. У меня уже была маленькая, но семья, а послевоенные трудности не убывали...

Булыжная привокзальная площадь была заставлена крестьянскими телегами. На газонах еще выращивали картошку, а заборы густо зарастали крапивой. По тихому зеленому деревянному городку даже автобусы не ходили. В кузове институтского разбитого грузовика, вглядываясь в чудные древние церквушки, добрались мы до центра и поселились над рестораном "Север". В этот облачный, уже не греющий августовский день 1949 года я стал старшим преподавателем Вологодского педагогического института, в котором суждено мне было проработать всю жизнь и даже заведовать кафедрой русской и зарубежной литературы...

...Молодости всегда кажется: впереди целая вечность, все можно успеть сделать, но в суете будней возникающие замыслы нередко

затухают, а сиюминутные тревоги и заботы торжествуют. Иллюзия их значительности становится даже опасной. Только в зрелой поре начинаешь сожалеть о безнадежно упущенном и попусту растратченном времени, начинаешь осознавать невосполнимые утраты. Зрелость открывает, однако, и новые заманчивые возможности, каких не знала молодость. Кажется, теперь, на этом новом уровне и будут осуществлены давние замыслы.

Такие замыслы роятся и у меня. Их даже много. Некоторые уже в работе, и теплится надежда увидеть их во плоти. Обретает заметные уже очертания монография "Роман и социализм", пишется книга о моей родине "Хлеб да соль", складывается повествование о детстве и юности нашего поколения, видится и его продолжение — целые куски книги о войне.

Но главная обязанность, можно сказать, зов совести всего нашего поколения, отдавшего свою молодость защите Отечества от фашизма, обязанность каждого из оставшихся в живых перед самим собой и перед памятью павших, рассказать о друзьях-товарищах, о тех, кто сердцем своим заслонил Родину, рассказать о них, как о сынах своего народа, о погившем цвете нации. Это надо непременно успеть сделать в первую очередь, сделать хорошо, с низким поклоном.

18 февраля 1985 года.
Публикация И. В. Гура



ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ

Когда человек уходит из мира сего, часто зрение знатавших его людей как бы обостряется. Даже на первый взгляд незначительные детали вдруг ярко выискиваются и делают портрет ушедшего объемным. В воспоминаниях о Викторе Васильевиче Гуре как раз и отразилось это. Его коллеги по научному и писательскому труду отнеслись к задаче каждый по-своему. Одни страницы скучны на повествование и оттеняют лишь одну какую-то черту характера Гуры. Другие щедро подробны и рисуют не только общественные моменты, но и многие бытовые детали из жизни Виктора Васильевича. И потому образ его получился многогранным и отчетливо зрымым.

ОН УМЕЛ ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ...

Виктор Васильевич Гура приехал в Вологду в 1949 году из Саратовского университета, который только что окончил. Помню, как он появился в институте, совсем еще молодой, в военной гимнастерке с боевыми наградами. Он сразу сказал, что хочет читать курс советской литературы, и читавший до него этот курс заведующий кафедрой уступил его.

Появление на кафедре Виктора Васильевича внесло оживление в научную работу кафедры, на которой до него был только один кандидат наук. В. В. быстро сдал кандидатские экзамены, защитил кандидатскую, а позже и докторскую диссертацию. Вслед за ним стали защищать диссертации и другие члены кафедры.

Одна за другой появляются в печати статьи Гуры, а затем и монографии, в основном посвященные Шолохову. К нему тянутся студенты, интересующиеся научной работой. Под его руководством сдают кандидатские экзамены, защищают диссертации. Из его учеников вырастают молодые преподаватели, научные работники, которые теперь работают не только в Вологодском пединституте, но и в других городах.

Виктор Васильевич становится организатором научно-исследовательской мысли далеко за пределами нашего института, его имя известно в столичных научных кругах. Он организует межвузовские научные конференции, на которые приезжают ученые из Москвы и Ленинграда, из Архангельска и Ростова, из Поволжья и Сибири, с Дальнего Востока и из Средней Азии. Он готовит и редактирует литературоведческие сборники, материалы конференций.

В памяти близко знавших его Виктор Васильевич остался деятельным, энергичным человеком, много сделавшим для коллектива преподавателей и студентов факультета и умевшим зажечь других своим энтузиазмом.

НА МОЛОДЫХ ВЫСОТАХ

Что удивляет, то и запоминается... В студенчестве, в Вологодском пединституте, мое деревенское простодушие было потрясено новостью, что Виктор Гура знаком с самим Шолоховым!.. Я онемел в ту минуту и не поверил, что наш преподаватель с таким мальчишеским румянцем так близок с великим писателем. Ну не поверил — да и все тут!..

Еще отроком, лет десяти, полюбил я срисовывать картинки (потом узнал, что их называют иллюстрациями) из огромной книги “Тихий Дон”, привезенной отцом из Вологды. Он тогда, перед самой войной, только что окончил учительский институт заочно. И я, второклассник, принимался даже читать эту книгу, толстую, как дедовская Библия, и широколистную, что альбом для рисования, также привезенный из Вологды. Но живо улавливал в ней лишь забавные сценки, в чем-то похожие и на нашу деревенскую побыть. Особо здраво виделась мне Аксинья, сравнимая по красоте, как я тогда представлял, лишь с нашей деревенской славницей — румянной и статной Шуркой Буковой. О, мир мальчишеских пристрастий!..

Вскоре мой отец, учитель русского языка и литературы, ушел на войну, командовал стрелковым взводом и погиб под Выборгом. И “Тихий Дон”, привезенный им перед войной, долго кочуя по деревенской округе, тоже не вернулся в наш дом. И лишь в институте вновь я взял в руки эту великую книгу. И тогда-то, конечно, охватило изумление — наш преподаватель знаком с самим Шолоховым! Он пишет диссертацию об истории создания “Тихого Дона”! Нет, не верилось мне, что он, такой молодой, сможет глубоко постичь и правдиво осмыслить весь трагизм шолоховского замысла. Однако на лекциях я стал повнимательней прислушиваться к Виктору Васильевичу, и в его басовитом голосе, с сильными идеологически-

ми нажимами, улавливать исследовательский азарт молодой учености.

И вот в 1951 году, когда я был уже на третьем курсе, Виктор Васильевич выпускает занимательную книгу “Русские писатели в Вологодской области”. То-то подолгу, помню, сидел он вечерами в областной библиотеке. И лишь по взвихренности русых волос, видневшихся из-за огромных штабелей газетных подшивок, можно было догадаться, что там трудится Гура.

Он просмотрел тысячи пожелтевших страниц и по зернышку собрал эту полезную книгу. Ведь самобытная история Вологды и губернии, а потом области, еще мало изучена и понята, она прямотаки сама зазывает в себя неленивых исследователей, но где они?.. Я купил тогда эту книгу Гуры и порадовался, что она пробуждала полезное любопытство, знакомила с малоизвестными именами и тихо подогревала в читателе чувство исторической значимости самой Вологды. И даже когда в “Литературной газете” появилась резкая рецензия “Вольная игра с писательскими именами”, в моих представлениях ничуть не померкла эта работа нашего преподавателя.

Что удивляет, то и запоминается... Когда в 1957 году в областной газете “Красный Север” появилась статья Виктора Васильевича о моей первой книге стихов “Признание друзьям”, я впервые тревожно задумался, что же такое критика. Урок автору или поучение читателю? Выявление поэтической истины или собственной позиции? Мудрость доброжелателя или бдительность политика?..

Конечно, в тот давний день, после прочтения рецензии, я расстроился. Ей-Богу, я не ждал похвал (то давнее самочувствие живо помнится до сих пор), потому что сам чуял, что в некоторых стихах я “не докопался” до ключевых струй. Ограничился верховым потоком слов... Одно это долгое перечисление моих недостатков, выпиравших из рецензии, горько пошатнуло меня. И я не соглашался с критиком в некоторых случаях. Ну вот, к примеру, с утверждением Виктора Васильевича, что (цитирую) “остается для читателя по-

этической загадкой" вот это стихотворение (знаки вопроса в скобках поставлены критиком):

Опять шумят, шумят
пожар зеленый (?),
Его не гасят
пенные дожди (?).
Леса, поляны
и речные склоны —
В цветенье все,
на что ни погляди.
В горячих полднях
бронзовеют сосны,
Темнеют липы
и роняют мед (?).
И лишь к беревам
в далях сенокосных (?)
Загар опять
никак не пристает.

Ну какая же здесь загадка? В этих строчках "кипит" лето, просто зеленое лето, выхваченное из наших вологодских далей. Кстати, эта поэтическая миниатюра нравилась Александру Яшину, Сергею Орлову, Ярославу Смелякову, у которого я потом учился поэтическому мастерству на Высших литературных курсах в Москве...

И если бы не последовавшая в "Красном Севере" вслед за рецензией Виктора Гуры редакционная статья "Медвежья услуга", то наши разногласия и затихли бы вскоре. Но этот ядовитый отчет анонима-доносчика о собрании областного литературного объединения, на котором обсуждались моя книга и статья критика, сразу круто расторг наши взаимоотношения. В редакционной статье, поддержавшей рецензента, унизительно изображались и грубо одергивались Сергей Васильевич Викулов, Василий Иванович Белов, Александр Сушинов, Борис Ромодин и другие участники этого — по определению газеты — "места сражения"...

Долго я не мог избыть в себе горечь от сознания, что первая книга — затаенная радость моя — вдруг обернулась такой неожиданной распрай... Потом, по выходе других своих книг в Москве и Вологде (а их вышло более двадцати), я все более и более убеждался, что критики озабочены прежде всего злобой дня и своими профессиональными интересами и целями, а вовсе не тайнами и делами поэзии.

Да и объясним ли сама по себе Поэзия? Доступны ли ее тайны аналитическим умам? Об этих загадках я думаю всю жизнь и лишь поражаюсь необъяснимому разнообразию поэтических воплощений в мире. Поэзия есть Нечто вселенское, похожее на сияние великого тепла, прступающего сквозь слова, стоящие в определенном, но таинственном сопряжении друг с другом...

Возникшее тогда отчуждение между нами, поэтами, и критиком с его многими сторонниками не принесло торжества никому. Явлена была лишь раздражительная самозащита с той и другой стороны. Истина оказалась поделенной противостоянием, следовательно, истина как бы исчезала вовсе... А меня горше всех тяготила некая вина — этот извечный русский недуг самоукоризны и мнительности.

Но тут объявился в Вологде писатель-земляк Константин Иванович Коничев, веселый баун и лукавый мудрец. Он сказал, как всегда, в рифму:

Мы, друзья, не лыком шиты,
Не лаптем хлебаем щи.
Дураков где хошь ищи ты —
Средь вологодских не ищи!

Ну, сразу — общий смех и его победа! Будучи в добрых отношениях с Гурой, он постепенно рассеял сумрак нашего противостояния...

Вспоминать свое минувшее — все равно что, обернувшись с высокого холма, вглядываться вдаль поверх своих теней. А память

наша — хитрая обманщица: она, увы, отражает не величину сотворенной нами Правды, а лишь величину пройденного нами Пути... Там, в тех годах, я вижу Виктора Васильевича Гуру неутомимым работником. Мне, конечно, резко не нравилась сухость и обкатистость его стиля, но примиряла фактическая дотошность и энергия его труда. За одну только научную подготовку однотомника сочинений Василия Красова, сотоварища Лермонтова и Белинского по Московскому университету, талантливого, но уже полузабытого поэта из города Кадникова (что в сорока пяти верстах от моей деревни), — низкий ему поклон! А сколько других значительных книг вышло в Вологде благодаря его усилиям!..

Что удивляет, то и запоминается... Потом, когда наши взаимоотношения постепенно утеплились, я увидел Виктора Васильевича в его семейной обстановке. Радущие Ирины Викторовны, его жены и сподвижницы по преподавательской работе в пединституте, располагало всякого гостя к добруму и умному разговору. Их домашний кабинет — эдакий книжный бастион от пола до потолка — не только не угнетал, а словно бы приподнимал душевно всяк входящего сюда. Я это чувствовал по себе, бывая здесь с незабвенным острословом Константином Ивановичем Коничевым и с Иваном Дмитриевичем Полуяновым. Здесь, в обстановке веселой непринужденности и осторожной откровенности, мы сближали свои личные — насколько это было возможно — пристрастия. Ибо творческие убеждения в писательском деле никогда несдвигаемы в угоду приятельству или даже дружеству. Эту истину мы тогда уже понимали и не требовали друг от друга никаких самопослаблений. Каждого из нас крепила и пытала своя творческая тайна.

Из тех лет почему-то особенно ярко помнятся наши совместные с Виктором Васильевичем самолетные рейсы из Вологды в Петрозаводск. Мы не раз добирались туда и на поездах, но уж очень тяготилиочные пересадки в Волховстро. А на самолете — любо-дорого: привалимся к круглому оконцу и любуемся лесами,

реками и озерами. И возвыщенно думается не только о родине, но и о предстоящей трудной работе в редакционной коллегии журнала «Север». Ведь из множества рукописей следует отобрать самые лучшие для публикаций на целый год. Сколько надо прочитать, обдумать, а местами сократить или что-то поправить в рукописях. Мне на редакциях было полегче и посветлей, потому что меня заваливали стихотворством, а Виктору Васильевичу — потяжелее и помрачней: на него надвигались хляби критики и бугры прозы.

...И вот мы летим вновь в Петрозаводск. Для такой серьеэной работы. И чтобы преждевременно не удручать себя и видя, что под нами уже засутгобились сплошные облака, Виктор Васильевич медленно выдвигал из кармана колоду карт. И с веселым вызовом поглядывал в мою сторону. Я согласно кивал, и между нами вспыхивала веселая междоусобица.

В нем, солидном ученом, вдруг оживало мальчишество, мы уравнивались в годах и впадали в обоюдный азарт игры. А в картах ведь скрыта мистическая тайна. Ничем иным, как только ей, не объяснить, почему я, игравший бесшабашно, вдруг начинал раз за разом выигрывать у опытного супротивника. Он огорчался и недоумевал, а я радовался и тоже недоумевал. А потом удача переходила на сторону Виктора Васильевича, и уже он великодушно утешал меня...

А в круглых окошках уже синело Онежское озеро. Белые барашки волн скакали к скалистому берегу. А по хвойному горизонту катилось солнышко и приподнимались розовые новостройки Петрозаводска. Там ожидала нас значительная работа.

Потом были, конечно, у нас совместные поездки в Москву и Ленинград на писательские съезды и конференции, но теперь при воспоминании о Гуре Викторе Васильевиче я почему-то первой всего вижу, как летим мы с ним, играя в карты, по голубому небу.

ЭНЕРГИЯ ПАМЯТИ

Когда горестная весть о внезапной кончине Виктора Васильевича Гуры пришла к нам из далекого Минска, меня поразила дата его ухода: 17 ноября. Поразила потому, что это была дата моего первого и к тому времени уже давнего с ним знакомства.

По цепи жизненных совпадений запомнилось, что именно 17 ноября в Москве на банкете по поводу защиты диссертации общей знакомой нас друг другу представили, и тут же он напористо стал уговаривать меня покинуть далекий уральский город, где я отбывала срок по распределению после аспирантуры, и работать на его кафедре. И ведь уговорил — такая была в нем энергия! Не сразу, разумеется, не тотчас после банкета, но через год, завершив срок докторантуры, я стала вологжанкой, сначала доцентом, а вскоре и профессором кафедры, которую он сам собрал и сам возглавлял много лет.

Как поется в старинном романсе, “мы долго шли рядом одною дорогой и много хотели друг другу сказать...”. Теперь, когда его с нами нет уже третий год, я частенько думаю с самоукором, что в повседневной трудовой суете, в спешке, в каких-то служебных и мелких стычках я и впрямь многоего ему сказать не удосужилась. Например, того, что ни разу не пожалела о решении, принятом давным-давно, в праздничный банкетный вечер 17 ноября 1969 года, когда он с такой лихой и веселой категоричностью повернул мою судьбу на русский север. Все же бесконечно прав любимый мною поэт Булат Окуджава, когда не устает уговаривать: “Давайте говорить друг другу комплименты!” — притом говорить их вовремя, а не потом, с запоздалым сожалением, вдогонку...

Мы знали, конечно, что в Минск он ехал не насморк лечить, что болезнь его серьезна и даже опасна, но такой скорой катастрофы все же не ожидали. Уезжая, он оставил кафедру на мое попечение, и

я обещала вести ее до возвращения хозяина по им намеченному плану. Даже приказ о моем назначении в его кресло имел этот оттенок твердой уверенности: "...на время отсутствия В. В. Гуры". Прощаясь по телефону, я спросила между прочим, как он настроен. Помолчал немного, а потом ответил: "Оптимизма я не теряю". С тем и уехал. Мужественный был человек. И слова его я воспринимаю теперь как нечто вроде завещания и мне, и всей кафедре.

Если б попросили меня очень коротко сформулировать, каким я себе его представляю, я бы ответила одним словом: "Большим". Или, может быть, двумя: "Большим и разным". Для меня он был Старшим, которого надлежало слушать почти беспрекословно, хотя прекословить иногда очень хотелось. Подымало бунтовать против его безапелляционности, хотя по прошествии некоторого времени чаще всего приходилось признать его правоту: человеком он был мудрым.

Строго говоря, возрастом он был старше меня совсем немного. Но так уж сложилась судьба нашей страны: между моим и его поколениями легли не просто четыре-пять лет, а — целая эпоха. И этой эпохой была война. Он принадлежал к тому поколению, которое в ранней юности попало в боевую мясорубку Великой Отечественной. Мое — не воевало, хотя наши мальчики и подошли к этой черте вплотную. Так она и легла между нами: они — старшие, мы — младшие. Их военная судьба всегда ощущалась за их плечом, не позволяя нам возвысить голос в серьезном споре о жизни. Может, и бунтовали мы порой именно из-за этого их особенного, какого-то нездешнего, не бытового вечного преимущества?

Наступил час, когда это поколение стало понемногу уходить в никуда: то одного из старых друзей не досчитываются, то другого. Виктор Васильевич болезненно, трагично, острее, чем кто бы то ни было из моих знакомых этих лет, воспринимал каждую такую потерю. И все чаще вспоминал "сороковые-рековы". И рассказывал

о них, когда случалось хоть на миг вырваться из тесного круга какой-то нескончаемой служебной карусели. А рассказчиком он был блестящим.

Однажды, например, в светлую для души минуту рассказал нам с приятельницей и сослуживицей несколько эпизодов своей службы в Японии, куда совсем юным закинула его в 45-м году военная судьба. Вроде бы и не было в этих коротеньких рассказах-картинах ничего потрясающего по коллизии или особенно познавательного, или остроумно-заковыристого, а вот в память врезались, как живописные миниатюры высокого мастерства. Случилось недавно нам, его тогдашней импровизированной "аудитории", по какому-то поводу собраться вместе. Поболтали, повспоминали. "А помнишь, — спрашивает вдруг приятельница, — как Гура рассказывал нам о молоденькой японочке: идет навстречу в кимоно, деревянные сандалии — топ-топ, ресницы длиннющие — хлоп-хлоп...?" Кому-то может показаться странным: ну что это, право, за военные воспоминания — "топ-топ", "хлоп-хлоп"? Пусть поверят нам на слово: это было поистине незабываемое впечатление, эти рассказы-картинки в светлую минуту. Здесь было все: судьба очень юного офицера, опаленного злую войной, ошеломляющая экзотика чужой восточной страны, тоска по исковерканной жизненной заре и вера в грядущее, да мало ли что еще, чего словами и не передашь, только живой интонацией прирожденного рассказчика, вот этими самыми: "топ-топ" и "хлоп-хлоп".

Помнится, я тогда же привязалась к нему: "Виктор Васильевич! Запишите все это, ну хоть на магнитофон. Жалко ведь, если потускнеет в памяти, а то и вовсе исчезнет!" Он обижался или кокетничал, делая вид, что обиделся: "Разве я уж так стар, чтоб за мемуары садиться?"

По Божьему замыслу Виктор Васильевич был творцом, созидателем, собирателем. Я не коснусь воспоминанием его собственного научного творчества: мы трудились в очень разных сферах отечеств-

венного литературного наследия, были воспитанниками совсем разных литературоведческих школ и иногда плохо понимали друг друга. Оставил эту сферу другим — его ученикам, которых он оставил немало, и его соратникам. Я же веду речь об иной стороне его творческого дара — организаторской, объединяющей людей в творчески состоятельный коллектив.

Кафедру, которую он возглавлял до последнего дня жизни, создавал сам. Прицеливался, примеривался, собирая “досье” — и вытаскивал нас из других городов и институтов, часто дальних, но, грешить не стану, — далеко не захолустных: из Астрахани, из Оренбурга, из Кемерова, из Костромы. Думается, что даже патриоты-вологжане (а они все патриоты!) не станут утверждать, что Вологда 60-х и 70-х годов, да и нынешняя тоже, являет собою тип северного Эльдорадо, куда стремится душа человека и с Волги, и с Урала. Нет, мы покидали обжитые места и ехали на рискованную неизвестность не в Вологду, а на кафедру к профессору Гуре, который имел в наших кругах достаточно сложившуюся репутацию. И не обманулись в выборе. Собрав коллектив с хорошим творческим потенциалом, он своей энергией обеспечил кафедре, как теперь стало модно выражаться, высокий рейтинг.

Нас ценили министерские власти, нам доверяли поручения республиканской значимости (отрецензировать новый учебник, создать для всех пединститутов России пособие по проведению практических занятий), нам разрешали, или даже навязывали иногда, конференции, совещания, форумы большого всесоюзного размаха. Подобно московским “ревякинским” или географически подвижным “половолжским”, эти “туриные” конференции 60-х и 70-х годов имели в стране шумный резонанс и навечно войдут в историю развития вузовского литературоведения второй половины XX века.

К слову сказать, “по мотивам” названных и неназванных межвузовских конференций той поры под общим руководством В. Гуры была осуществлена и большая библиографическая работа по соби-

ранию и систематизации результатов исследовательской работы ученых-педагогов России на поприще литературоведения. Эти скромненькие сборнички теперь — большая редкость, настоящиеrarитеты, обладанием которыми может гордиться ученый-книголюб и в нашей стране, и за ее пределами.

Такой же оценки заслуживает и другое широкомасштабное предприятие, организованное неугомонным и неутомимым заведующим нашей кафедрой. В 70-х годах он собрал и утвердил в министерстве постоянно функционирующее научно-методическое объединение литературоведов, работающих в педагогических вузах. Оно получило право на издание ежегодного сборника под всеобъемлющим именем “Проблемы реализма”. Редакция сосредоточилась на нашей кафедре. И хотя значился он республиканским, его графической эмблемой стало изображение памятника Владимиру Маяковскому, тогда же установленного перед фасадом только что пущенного в эксплуатацию третьего учебного здания ВГПИ. Кстати, сам этот памятник тоже в известном смысле слова детище Гуры. Именно он обнаружил скульптуру где-то в музейных запасниках и, неуемный, настоял на том, чтобы ее извлекли на божий свет и водрузили на пьедестал под окнами филфака. Сам же он тогда этот памятник торжественно и открыл.

Сборник “Проблемы реализма” регулярно выходил в свет с 1975 г. и весьма ценился не только в нашем профессиональном кругу и не только в пределах нашего государства. Стараниями своих английских коллег я, например, располагаю несколькими экземплярами ежегодного библиографического отчета отделения славистики Лондонского университета, где отмечены (стало быть, рекомендованы европейской общественности, интересующейся историей русской литературы) многие выпуски этого цикла или отдельные статьи.

С 1975-го по 1980-й год под неизменной редакцией В. Гуры вышло в свет семь сборников “Проблем...”, содержащих 75 вы-

ступлений ученых литературоведов разных городов, возрастов и рангов. Целая антология вузовского литературоведения 70-х годов.

С 80-х годов министерство вдруг без каких-либо разумных комментариев распорядилось маскировать сам факт периодичности этого издания. Рекомендовалось именовать его "тематическим" и всякий раз непременно давать новое название. В таком замаскированном виде (тоже памятник странной эпохи!) "Проблемы..." про существовали еще десятилетие. Их вышло еще семь. На титуле четырех, как и прежде, стояло: "Под редакцией проф. В. В. Гуры". В целом весь этот цикл из четырнадцати разноцветных сборников — реальный памятник их создателю, вдохновителю, редактору-организатору Виктору Васильевичу Гуре.

В последние годы жизни Виктор Васильевич, то ли чувствуя зародившуюся болезнь, то ли ощутив груз годов, часто и много говорил о смерти. Сказать точнее — не о самой смерти, а о посмертной жизни ушедшего в людской памяти. Суеверные, как вся русская интеллигенция, мы этой темы в разговорах избегали, не поддерживали, а — зря. Ведь таким способом он хотел нам что-то завещать, о чем-то просил. В силу своего темперамента пытался даже сам как-то "организовать" память о себе, своих делах и неосуществленных замыслах в последующей, уже без него, жизни кафедры. Он хорошо понимал организующую, конструктивную силу памяти и стремился еще при жизни запустить этот маховик.

В каком состоянии пребывает его домашний архив, знает семья: вдова, дети. Но и на кафедре в последние годы жизни он очень масштабно задумал собрать архив и создать свой мини-музей, который хранил бы культурно и профессионально все существенные события и вехи кафедральной истории. Был приобретен даже громадный, со стол величиною, альбом для этой цели. А у каждого из нас энергично вытряхнуты разные памятные бумаги и предметы: редкие публикации, фотографии, копии важных документов. Потом все это ухнуло куда-то при более чем загадочных обстоятельст-

вах, вникать в которые в суете повседневных дел никто не стал. Не состоялся музей кафедры. А коварная память или, лучше, ее тень — беспамятство — уже копает ров между новым поколением коллег и той эпохой, которая была своего рода золотым веком кафедры литературы ВГПИ и связана с именем ее долголетнего руководителя В. В. Гуры.

Мы повесили, конечно, после его кончины хороший портрет на стену кафедральной комнаты. Пока — без всякой подписи: ныне работающим кафедралам это еще не нужно, а совсем новенькие, пришедшие извне, получили соответствующие разъяснения. Но время бежит, и уже через несколько лет потребуется, вероятно, подпись с краткой аннотацией. А потом? Что станет еще потом, если нигде не фиксированная память оказалась такой предательски хрупкой и короткой?

Все же, как завещал, уезжая навсегда, Виктор Васильевич, не будем терять оптимизма. Пусть этот вот сборник воспоминаний о нем послужит стимулом той работы по превращению памяти в конструктивную энергию, которую он начал было делать — и не успел, ибо сказано мудрым: “Нам не дано видеть результатов трудов своих”. Забота о них — дело последователей и продолжателей, организованных и мобилизованных памятью. Хочется верить, что по мере отступления в прошлое “эпохи Гуры”, новые, все более молодые сотрудники кафедры не забудут и о такой своей служебно-профессиональной обязанности, как хранение и продолжение традиций и начинаний, заложенных еще в ту пору, когда руководителем кафедры был Виктор Васильевич Гура. Мир его праху и вечная память его делам и свершениям.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Познакомился я с Виктором Васильевичем Гурой на заседаниях ученой-комиссии по литературе Министерства просвещения РСФСР зимой 1967 года. К этому времени я, в недавнем прошлом вузовский преподаватель, по воле судьбы уже полгода работал в новой для меня должности инспектора-методиста Управления учебных заведений во вновь созданном союзном Министерстве просвещения. Регулярно присутствуя на обсуждениях широкого круга вопросов подготовки учителей русского языка и литературы, я набирался опыта организаторской работы в государственном аппарате, задумываясь над тем, как сохранить преемственность и избежать в то же время дублирования в работе двух учреждений (союзном и республиканском), занимающихся одним общим делом — подготовкой кадров учителей; присматривался к ученым — профессорам и доцентам, с которыми в ближайшее время мне предстояло вступить в деловые контакты.

Комиссия по литературе в Минпросе РСФСР была одной из самых сильных. Ее четкую и содержательную работу организовывала Людмила Антоновна Хмелецкая, кандидат филологических наук, опытный, в тонкостях знающий свое дело инспектор-методист. Заседания же вел многолетний бессменный председатель комиссии профессор Александр Иванович Ревякин.

Вскоре на этих заседаниях мое внимание привлек Виктор Васильевич. Коренастый мужчина средних лет. Слегка полноватый. С открытым приятным лицом. Его интересно было слушать. Сиюминутное впечатление от его выступлений естественно накладывалось на более ранние мои представления о нем, сложившиеся заочно после знакомства с его трудами — книгами и статьями в различных периодических изданиях. В то время, после защиты докторской диссертации в 1968 году, он был одним из самых молодых

профессоров в системе педвузов страны, входил в число наиболее осведомленных специалистов, успешно занимавшихся проблемами теории и истории русской советской литературы. К тому же он лично, как критик, активно участвовал в современном литературном процессе и чувствовал его изнутри.

Между тем, новое Управление учебных заведений под руководством В. К. Розова набирало обороты в своей повседневной деятельности. Были сформированы научно-методические советы по всем учительским специальностям, пересмотрены учебные планы, составлен перспективный план издания учебной литературы... Долгая очередь до переиздания и совершенствования учебных программ.

Повседневная напряженная работа шла в тесном контакте с вузовскими учеными, членами научно-методических советов. Она вскоре выявила людей активных, которым было интересно работать над заданиями министерства, и таких, которые ограничивались только выступлениями по обсуждаемым проблемам (и это тоже было важно).

Учебные программы, стоящие рядом на полке в одинаковых обложках, с одинаковым набором выходных данных, кажутся на одно лицо. На самом деле каждая программа имеет свою историю появления на свет — иногда до банальности простую, а иногда — драматическую.

Авторы программ — тоже очень разные. Эвонишик одному с просьбой подготовить новое издание и не знаешь, как с ним разговаривать: и сжатые сроки заказа его не устраивают, и дела неотложные накопились именно к этому времени. С другими авторами, наоборот, было легко договориться, но, еще только собираясь звонить автору, я уже знал, что он будет держать программу в столе до тех пор, пока в нем не созреет готовность приняться за хлопотный труд. Процесс "созревания" у каждого автора был свой, часто непредсказуемый, иногда длительный и мучительный для обеих сторон.

У заказчика была еще одна трудность. За эту ответственную работу, требующую высокой квалификации, быстрой мобилизации

знаний, точности и краткости формулировок, умения сочетать высокий теоретический уровень с практической направленностью, не был положен гонорар. Считалось, что самая высокая оплата — это высокое доверие, оказанное автору-энтузиасту.

По предложению А. И. Ревякина Виктор Васильевич был привлечен к совершенствованию программ. Он редактировал программу по советской литературе, переиздававшуюся трижды. Позже он стал соавтором в обновленном авторском коллективе (1984). Но особенно много сделал Виктор Васильевич по русской литературе XX века (дооктябрьский период). Автором этой программы был профессор Иван Григорьевич Клабуновский. Заслуженный ученый и опытный преподаватель кафедры советской литературы МГПИ им. Ленина, он в последний период своей жизни много болел. В 1972 году его программа была переиздана. Ответственный редактор В. В. Гура ограничился минимальной правкой. В 1979 году эта программа была уже существенно доработана Виктором Васильевичем и напечатана в ротапринтном варианте, а в 1980 году ее выпустило издательство "Просвещение". Виктор Васильевич бережно относился к труду своего предшественника и соавтора, всегда согласовывал с ним вносимые изменения. Перед тем, как предпринять кардинальную доработку программы, Виктор Васильевич написал краткую, но емкую объяснительную записку. В ней он развел давно уже беспокоившую ученых и преподавателей мысль о недостаточной разработанности структуры курса, о вынужденной конспективности в освещении сложных литературных явлений. С одной стороны, в структуре курса не были представлены Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко, продолжавшие творить в начале века; с другой — расчленялось изучение М. Горького, В. Маяковского и некоторых других писателей, чье творчество после 1917 года изучалось в курсе русской советской литературы.

В новом варианте программы был сделан важный "акцент на монографически целостном изучении почти всех писателей этих лет

независимо от времени завершения их творческого пути" (Л. А. Андреев, А. Ахматова, А. Блок, В. Брюсов, И. Бунин, В. Вересаев, А. Серафимович). Раздел об А. Ахматовой был впервые включен в программу этого курса. Это была первая ласточка тех кардинальных изменений в содержании программы, которые осуществляются сегодня.

Управление учебных заведений регулярно проводило совещания-семинары заведующих кафедрами педагогических институтов по всем специальностям. За время моей работы в министерстве заведующие кафедрами литературы собирались трижды: Смоленск (1971), Москва (1977), Псков (1984). Каждый раз среди основных докладчиков был и Виктор Васильевич. Во Пскове он выступил с докладом по проблемам развития литературы на современном этапе. Он не повторял прописных истин, избегал сложившихся клише в оценке и характеристике советской литературы, в анализе путей ее развития. Он подходил к поставленной проблеме как исследователь, размышляющий над фактами функционирования живого литературного процесса. И примеры такого анализа — в его трудах.

Виктор Васильевич был человек доверчивый и открытый. Так, бывало, собирает начальство в Минпросе России или в союзном министерстве актив ученых, чтобы обсудить насущные проблемы подготовки учителей, поговорить о трудностях в работе. Возьмет слово и Виктор Васильевич. Выскажется по давно назревшему обсуждаемому вопросу с надеждой на его решение уже в ближайшем будущем, а потом откровенно заговорит о наболевшем. Скажет о недостаточном количестве часов в учебных планах на дисциплины литературоведческого цикла, на спецкурсы и спецсеминары, о перегрузках студентов и преподавателей, о непроизводительности работы завкафедрой, от которого требуется разнообразная отчетность, отнимающая драгоценное время у руководителя кафедры, если он добросовестно относится к своим обязанностям.

У начальников эти откровения Виктора Васильевича не вызывали энтузиазма, но они ценили оратора за конкретные результаты

его труда, которые всегда вызывали уважение. Реальные трудности в работе, о которых он говорил, им всегда преодолевались. Не в последнюю очередь, надо полагать — и за счет здоровья, а не только вследствие умения работать и большой собранности.

В 1985 году Виктор Васильевич подарил мне библиографический указатель своих работ, составленный вологодской областной библиотекой и приуроченный к шестидесятилетию ученого, с надписью — “На добрую память о наших совместных добрых делах от библиографируемого В. Гуры”. В указателе отразилась, как в зеркале, многогранная деятельность этого разносторонне талантливого, на редкость целеустремленного человека за 35 лет непрерывного творческого труда. Вглядываясь в это “зеркало”, “библиографируемый Гура” мог не без интереса взглянуть на себя как бы со стороны: столько полезного и доброго было им сделано.

В этой связи хочу остановиться на его главной, как мне представляется, книге “Как создавался “Тихий Дон”. Творческая история романа М. Шолохова”, выдержанной уже два издания. Виктор Васильевич посвящает книгу светлой памяти отца, погибшего в первовьях Дона летом 1942 года. Этой книгой ученый держит ответ перед отцом за свою многолетнюю работу по изучению творчества Шолохова. И это впечатляет. Зная В. В. Гуру, мы верим, что книга написана честным человеком, без лицемерия и конъюнктурных соображений.

После распада СССР усилились нападки на талантливых русских писателей XX века, придерживавшихся социалистической ориентации. Мутная волна очернительства окатила Горького, Маяковского, Шолохова...

Виктор Васильевич, составивший еще в студенческие годы биобиблиографический справочник о жизни и творчестве Шолохова, не мог не знать антишолоховских высказываний, во всяком случае, он упоминает о разговорах, возникших вокруг имени Шолохова как автора “Тихого Дона” после выхода первой книги романа из печати (1928).

Творческий взлет молодого Шолохова в первой книге романа по сравнению с “Донскими рассказами” В. В. Гура, на наш взгляд, аргументированно объясняет выдающимся талантом писателя и образом его жизни — среди своих героев. “Вне той среды и обстановки, о которой пишешь, вряд ли можно создать что-либо порядочное. Мне бы, во всяком случае, без этой связи не написать своих романов”, — сказал писатель при личной встрече с исследователем его творчества. Впечатления ученого от поездок по местам событий, описанных в “Тихом Доне”, от личных встреч с Шолоховым и его земляками, с родственниками возможных прототипов его художественных образов в романе искусно вкрапливаются в собственно литературоведческий анализ и способствуют его убедительности.

История создания “Тихого Дона” рассматривается Виктором Васильевичем в контексте всего творчества Шолохова и литературного процесса 20—30-х годов, чем обычно не занимаются антагонисты писателя. Противники Шолохова как единственного автора “Тихого Дона” должны внимательно рассмотреть аргументацию В. В. Гуры, разворачиваемую в книге. Только новые честные и объективные труды о творчестве писателя и особенно о “Тихом Доне” позволят внести ясность в затянувшийся спор.

Виктор Васильевич Гура внес свой посильный вклад в это добродел. Спасибо ему!

ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Никак не мог представить, что мне придется писать нечто некрологическое или мемуарное о моем друге Викторе Гуре: я старше его на пять с половиной лет, смерть его была для меня полной неожиданностью и воспринималась особенно тяжело. Мы дружили сорок лет, он открылся передо мною с самых разных сторон и живет в моей памяти как ученый, педагог, прекрасный семьянин.

Прежде всего, конечно, как ученый. И здесь наши пути и методы работы во многом переплелись. Он начал (еще студентом) с биобиблиографического справочника о Михаиле Шолохове, я десятью годами раньше — с библиографии о Блоке. И для меня, и для него по-особому звучали слова Брюсова, который уподобил библиографию в науке фундаменту здания: крепкий фундамент — будет прочно и долго стоять “строительный объект”; хорошее библиографическое и источниковедческое оснащение — наполовину решает успех научной работы.

Виктор Васильевич любил вспомогательные дисциплины — библиографию, источниковедение, текстологию. В последние годы он с удовольствием читал о них специальный курс для студентов, опираясь при этом и на свой незаурядный опыт в этой области. Тщательностью и основательностью отличаются все его работы, мимо его семинария о Шолохове не пройдет ни один исследователь этого выдающегося писателя.

Талант Гуры-ученого уже с блеском проявился в его кандидатской диссертации о творческой истории “Тихого Дона” (1953), которая затем, обогащенная новыми материалами, стала основой монографии, выдержавшей два издания. Книга эта и сейчас участвует в спорах о великом романе. Благодаря тому, что в ней прочный библиографический и источниковедческий фундамент, что автор провел скрупулезную работу над текстами, Шолохов в этом романе

выступил под первом исследователя как самобытнейший художник слова.»

От Шолохова был естественным переход к теме докторской диссертации — роман о революции (1968). Докторские мы защищали в один год (я — две книги о Фурманове). Мы работали над одной эпохой, над близким материалом и часто делились друг с другом наблюдениями и выводами. Сейчас все, что связано с изображением революции и гражданской войны, кое-кто старается перетолковать “наоборот”. Конечно, мы писали на основе того, что знали, и тех материалов, которые были тогда доступны, поэтому, наверное, наши труды потребуют известной корректировки. Но если обратиться к монографии В. Гуры “Роман и революция”, то нельзя не поразиться тому, какие огромные пластиы произведений и живой литературной жизни в ней воспроизведены и проанализированы, какой большой труд был проделан автором. Это не может устареть и пропасть бесследно.

Я не ставлю целью обозреть литературное наследие В. В. Гуры. Это — тема специальной работы. Я хочу подчеркнуть, что он жил и творил как настоящий ученый. В этом немалая заслуга его учителей. Некоторых я знал. Как-то однажды в разговоре выяснилось, что на первом курсе Саратовского университета лекцию на тему “Введение в литературоведение” он слушал у члена-корреспондента АН СССР С. Д. Балухатого, эвакуировавшегося в Саратов с Ленинградским университетом. А я годом позже, осенью 1943 года, стал в ЛГУ аспирантом С. Д. Балухатого. Виктор в то время был призван в армию и вскоре ему пришлось “проходить университеты” на фронте. А возвратившись, он учился у А. П. Скафтымова, Е. И. Покусаева, Ю. Г. Оксмана. На лекции Александра Павловича я специально ходил, а с Евграфом Ивановичем потом близко познакомился, встречался и с Юлианом Григорьевичем. Эти профессора много сделали для того, чтобы прославить саратовскую филологическую школу, очень близкую ленинградской. Это тоже объединяло меня с Виктором Васильевичем.

Немалое значение в нашем сближении и общении имело то, что он связал судьбу с моей “малой родиной” — Вологодской землей. Обстоятельства разлучили меня с ней в 13 лет, но я не мог ее забыть, и Виктор Васильевич стал для меня источником многих знаний и сведений о Вологодчине.

Иногда бывает так даже с интеллигентными людьми: приехав на новое место, они удивительно равнодушны к нему. А Виктор Гура, можно сказать, врос в Вологодскую землю, крепко пустив в нее корни. Он увлекся историей, искусством, литературой края, писал о местных писателях, изучал фольклор. Он же — один из создателей Вологодской писательской организации и ее руководителей в первые годы. Со временем он стал в Вологде видным и почитаемым деятелем культуры, а Вологодский пединститут, благодаря его энергии и общественному темпераменту, стал одним из заметных центров литературоведения на периферии. Под его руководством прошел ряд значительных научных конференций, выпущено много томов “Ученых записок” и сборников, тщательно отредактированных, а состав кафедры укрепился как приглашенными перспективными учеными, которые вскоре стали докторами наук, так и своими, выращенными В. В. Гурой кадрами. Об этой стороне его деятельности, как и других, я был всегда хорошо осведомлен.

Мы постоянно общались с ним путем переписки и личных встреч в Вологде, Иванове, чаще всего в Москве. С 1959 года в течение 25 лет я был членом ученой комиссии по литературе при ГУВУЗе Министерства просвещения РСФСР. В середине 60-х годов я убедил председателя комиссии профессора А. И. Ревякина ввести в ее состав Виктора Васильевича. В комиссии он оказался в высшей степени деятельным и полезным и не случайно со временем стал заместителем председателя, а затем и председателем. Мы встречались в Минпросе не менее шести раз в году. Комиссия, по существу, направляла всю методическую и научную работу литературоведческих кафедр пединститутов. Эта работа кажется мне сейчас

весьма и весьма плодотворной. Не могу не привести такой факт — издание семи выпусков библиографий трудов, напечатанных в “Учебных записках” и других изданиях пединститутов. Программу и план издания разрабатывал я, но к ее реализации много усилий приложил и В. В. Гура.

Хотелось бы отметить и такую черту Виктора Васильевича — он был прирожденным литератором, его всегда тянуло к живому литературному делу. Поэтому он много писал, выступал как критик, у него был широкий круг знакомств с писателями, литературоведами, в редакциях журналов. Как-то он показывал мне дома тщательно уложенные папки с письмами многих писателей, начиная с Шолохова. Он хранил и письма коллег. Что стало с его ценным архивом? Кстати, меня волнует его автобиографическая повесть “Под кожушком”, которую он с увлечением писал, вспоминая свое детство. В ней проявлялась несомненная художественная натура, и жаль, если хотя бы во фрагментах повесть не будет опубликована.

Живой интерес к текущему литературному процессу, к писательской работе привел его и меня в Комиссию по критике и литературоведению при Союзе писателей РСФСР. Здесь он был гораздо активней и заметней меня, я в общем-то чуждался злободневности и “одергивал” его, когда он слишком давал ход своему темпераменту. Однако необходимо сказать, он и сам не любил всего, что отдавало конъюнктурой.

Я мог многократно наблюдать дружелюбие и заботу Виктора Васильевича о своих друзьях, товарищах по работе, аспирантах, учениках. Гостеприимство его и его жены Ирины Викторовны знают многие, посетившие Вологду. Круг его общения был обширный и на пользу не только ему и кафедре. Такие мероприятия, как, положим, организованный им приезд ученых Пушкинского дома во главе с академиком Д. С. Лихачевым, стали большими культурными событиями в жизни Вологды.

Филология, которой В. В. Гура посвятил жизнь, стала делом всей его семьи. Жена защитила кандидатскую диссертацию и мно-

го лет преподавала в пединституте. Сын и дочь тоже получили филологическое образование — оба учились в МГУ; сын, кандидат наук, успешно трудится в Российской Академии наук, дочь преподает английский язык в Минском пединституте. Я знаю, с каким вниманием и заботой опекал Виктор Васильевич своих детей, когда они учились в Москве. Оба его не подвели, учились хорошо. Любовь к детям он перенес на внуков, всегда ждал их приезда в Вологду, а затем на дачу в деревне.

В деревне у него в последний раз я был в 1982 году вместе с женой Марией Васильевной (я тогда председательствовал на филфаке в ГЭК). Виктор Васильевич предстал передо мной заботливым семьянином и рачительным хозяином. В нем как бы проснулись крестьянские гены, он с любовью говорил о земле, показывал теплицу, огород, молодой сад. Все это было мило моему сердцу, вызывало в памяти деревенское детство. Мы сходили с ним в лес, искали грибов, вырыли две молодые сосенки и посадили их сзади дома — на память о нашей дружбе. А несколько ранее он привез из Иванова молодой дубок, росший около моего дома, — не знаю, прижился ли он.

Существует изречение: “Вечно зелено дерево жизни”. “Дерево жизни”, привитое В. В. Гурой на Вологодской земле, плодоносит и будет давать через его учеников все новые и новые плоды в науке и культуре. Я скорбно склоняю голову в знак памяти о моем незаввенном друге.

ЛЮДИ БЫЛИ ЕМУ ИНТЕРЕСНЫ

Ему нравилось общение. Люди вроде бы и не утомляли его. Наоборот, чем больше новых лиц на каждую единицу его жизненного времени, тем оживленней и радостней горели его глаза, а сам он предлагал все новые и неожиданно интересные темы для своих собеседников.

Мне кажется, он любил гостей. Не скажу, что я был завсегдатаем в доме Виктора Васильевича, но с первой и до последней секунды пребывания гостей в доме все внимание Виктора Васильевича было посвящено им.

Тут напрашивается вывод о бесконечном внимании к людям, постоянном желании помочь и других мелодраматических вещах. Нет, тут было как у всех, без особых преувеличений. Но мне известна и честность Виктора Васильевича в таких вопросах. Если человек нравился ему, свою долю забот о нуждающемся он исполнял честно: звонил, просил, ходил, рекомендовал, уговаривал. Во всяком случае не забывал.

Он очень любил новости. Не те, о которых пишут в газетах. Новости о людях были ему интереснее, чем новое в политике. Его фантастическая влюбленность в книги основывалась, на мой взгляд, тоже на возможности из книг узнать новое о людях. Потому-то он любил раритеты, книжные редкости. Причем, его интересовали не люди вообще, даже если это были великие люди, а прежде всего те сограждане, которые были причастны к местам его жизни. И тут уж было безразлично, литератор ли этот человек или директор предприятия, журналист или рабочий совхоза.

Воспоминания как жанр избавляют от необходимости рисовать логически завершенный портрет. Но вопрос о новостях требует продолжения. Дело в том, что Виктор Васильевич и сам любил рассказывать новости. Когда новые вести переполняли его, он стано-

вился бодрым и энергичным, он искал людей, кого эти новости могли бы заинтересовать. Он выкладывал новости то размашисто, то небрежно, как бы между прочим. Он предвкушал реакцию собеседника и любовался ею. Причем, чего тут было больше: то ли желания подчеркнуть свою приобщенность к тому миру и к тем людям, которые рождают новое, то ли намерение поразить своего партнера по беседе — трудно даже и решить сейчас.

Я видел Виктора Васильевича в разных ситуациях. При мне в разном возрасте он выходил на кафедру к студентам. Он заведовал кафедрой и строго, по-отечески держал своих "кафедралов" в ежовых рукавицах. Он всегда ходил на выпускные экзамены, если только мог.

Понимаю, что конкретные жизненные эпизоды оживили бы образ, но главное свойство его натуры — естественность и непосредственность — в эпизодах и не передать.

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

Трудно назвать человека, который бы так сильно повлиял на мою жизнь, как Виктор Васильевич Гура. Под его руководством я писал свою первую научную работу, он рекомендовал меня в аспирантуру, а также на работу в Вологодское книжное издательство, позднее пригласил работать в институт, а на кафедре литературы я был все годы, когда он ее возглавлял. Но из сорока лет, которые я его знал, едва ли не самыми определяющими были первые четыре студенческих года.

Мы услышали его лекции уже на первом курсе: он читал тогда вводный курс советской литературы, а также фольклор. Конечно, более существенными для нашего образования были лекции Виктора Васильевича на выпускном курсе, но по впечатлению своему первая встреча с В. В. Гурой как ученым и как лектором была потрясением. Почему-то вводный курс современной литературы связывался в нашем сознании с курсом античной литературы, который читал О. В. Шайтанов. Именно эти два преподавателя производили на студентов самое сильное впечатление, к тому же в перерывах между лекциями их часто можно было видеть вместе, прохаживающимися в коридоре. Это было незабываемое зрелище: высокий, с пышной шевелюрой декан и зарубежник О. В. Шайтанов и сравнительно невысокий, худощавый, гладко причесанный В. В. Гура. Их увлеченная беседа как бы символизировала для нас единство мировой литературы и многовекового литературного процесса. Восторг вызывали и их жены, тоже преподававшие на нашем курсе — одна красивее другой.

Лекции Виктора Васильевича поражали тем, что открывали новое в, казалось бы, уже знакомом, что они приучали сопоставлять разные точки зрения и анализировать текст. Для меня эта сторона его лекций оказалась такой увлекательной, что скоро я под

руководством Виктора Васильевича начал научную работу, сравнивая две редакции романа А. Фадеева “Молодая гвардия”.

Виктор Васильевич оказался идеальным научным руководителем. С одной стороны, он всегда был готов помочь советом, подсказать направление дальнейшей работы, отделить главное от второстепенного — и для этого не жалел времени на консультации ни в стенах института, ни у себя на дому. А с другой стороны, он предоставлял большую самостоятельность и не навязывал свою концепцию. В итоге моя научная студенческая работа была быстро и успешно закончена, удостоена первой премии на институтском конкурсе, напечатана тогда же в сборнике студенческих работ, и я успел даже съездить с докладом по своей теме в Ярославский педагогический институт (правда, это было уже на четвертом курсе).

Помню, еще на первом курсе Виктор Васильевич согласился сфотографироваться с нашей студенческой группой “В” (с другими преподавателями мы фотографировались позднее). Он сидит в центре и только этим выделяется среди нас, потому что кажется таким молодым, да и на самом деле он еще очень молод.

Я ПОМНИЮ ЕГО РАЗНЫМ...

Это было так давно — кажется, совсем в другой жизни... Саратов, университетское общежитие на Вольской, случайная встреча с молодым лейтенантом, недавно демобилизовавшимся после завершения войны с Японией. Звенят медали, на груди два ордена Красной Звезды, белые, как лен, волосы, живые глаза, радость от новой встречи с университетом, из которого ушел в армию с первого курса. Позади война с германскими фашистами на Украинском и Белорусском фронтах, в Восточной Пруссии, тяжелое ранение, госпиталя, снова фронт и далекая Маньчжурия. И теперь — возвращение к своей прежней страсти — изучению литературы.

Так случилось, что этим же вечером в общежитии были танцы под модный тогда аккордеон, и весь вечер Виктор не отходил от меня.

Скоро я многое о нем узнала, побывала у него на родине в слободе Николаевской, что расположена на берегу Волги напротив Камышина. Тогда она находилась еще на исконном месте. Познакомилась с его родными, впервые в жизни побывала на бахче, где была поражена размерами и количеством дынь и арбузов.

Здесь, в этом благодатном краю, прошло детство Виктора, его школьные годы. Много ярких эпизодов этой поры запечатлено им в воспоминаниях. Здесь произошла его первая встреча с Михаилом Шолоховым, творчество которого стало предметом его постоянного исследовательского интереса.

А пока что он был всего лишь студентом первого курса и мечтал о том, чтобы догнать меня, второкурсницу. Это стоило ему больших усилий, особенно трудно было с лингвистическими предметами. Филологический факультет СГУ был в то время одним из самых лучших в стране. Здесь свято хранили старые университетские традиции, здесь преподавали профессора с мировыми именами.

Юный “победитель” с головой окунулся в море книг, жадно слушал лекции (а записывать их предоставлял мне!), но времени катастрофически не хватало. Ведь нельзя было пропустить оперную или балетную премьеру, новый драматический спектакль. Приехал с концертами недавно вернувшийся на родину Александр Вергинский, и удалось достать билеты. Помню переполненный саратовский цирк, помню легендарного певца, долго остававшегося под запретом, элегантного в черном фраке, помню его необычное грассирующее произношение и выразительные руки. Давние бабушкины рассказы теперь соединились с личным впечатлением, и это была настоящая сказка в нашей послевоенной жизни.

Многие экзамены Виктору приходилось сдавать индивидуально, один на один с профессором и, хотя такое общение чаще всего заканчивалось законной пятеркой, иногда возникали непредвиденные ситуации. Так на экзамене у Александра Павловича Скафтымова экзаменующийся не сошелся с профессором во взглядах на статью Ленина “Лев Толстой как зеркало русской революции” и так рьяно отстаивал свою правоту, что был отправлен еще раз внимательно прочитать обязательное исследование.

Тем не менее, зачетка заполнялась недостающими оценками, и на третий курс мы перешли вместе.

Когда академические занятия немного ослабили свою хватку, Виктор занялся тем, к чему давно уже стремился. Им был задуман ни больше ни меньше, как роман. Назывался он “За землю русскую” и, конечно же, повествовал о войне. Был готов общий план и написаны некоторые главы. Автор был настолько уверен в успехе, что в разговоре с воспитавшей меня бабушкой, не одобравшей нашего намерения вступить в брак, на ее вопрос, на что мы собираемся жить, ответил: “Я пишу роман”, чем окончательно сразил бедную женщину.

Все же нельзя было надеяться только на свои представления, нужен был совет опытного человека, и Виктор обратился к одному из старейших писателей Саратова А. Н. Матвеенко. В его уютной

квартире за чашкой чая или за письменным столом молодому самоуверенному автору пришлось скоро убедиться, что в литературе, все-таки, боги горшки обжигают, и с насока романы не пишутся. Прошло немало времени, прежде чем в альманахе “Литературный Саратов” появились тщательно отредактированные Александром Николаевичем Матвеенко главы из повести (жанр был определен более скромно!), которая называлась “Фронтовой дорогой”. Альманах вышел в 1947 году, а замысел всего романа так и остался неосуществленным.

Одной из причин было то, что в августе 1947 года мы все же решили пожениться, а это означало новые заботы. Свадьба, которую мы отпраздновали на квартире у нашей подруги Жени Никитиной, была более чем скромной, настоящей студенческой, очень веселой, несмотря на все. Год был трудный, голодный, неурожайный. Стипендий, даже повышенных, не хватало. Надо было искать дополнительные источники дохода, и художественное творчество пришлось отложить, заняться журналистикой. Рецензии, репортажи, а иногда и очерки за подписью “В. Гура” стали часто появляться на страницах саратовской областной газеты “Коммунист”. Гонорары были небольшие, но они очень выручали, тем более, что в педагогический институт поступила сестра Виктора Тамара, которой тоже надо было помогать.

И все-таки основные силы и интересы были отданы университетским занятиям. В них все увеличивалась доля самостоятельной работы. Вот тут и проявился настоящий научный интерес Виктора к исследовательской работе, к текстологическим изысканиям, интерес, который развивал, поддерживал и направлял Юлиан Григорьевич Оксман, а также руководитель наших дипломных работ — Любовь Петровна Жак. Если с Юлианом Григорьевичем мы общались тогда в основном на почве научных интересов, то с Любовью Петровной у нас были более домашние, сердечные отношения. Мы бывали на ее семейных торжествах, она вникала в наши нужды, например, помогла “экипировать” нашего первенца, появившегося летом 1948 года.

На всю жизнь мы остались благодарны и ей, и другим нашим учителям, которые и после окончания университета продолжали следить за нашим научным ростом, помогать нам советами и делом. Им мы обязаны научной школой, пониманием специфики литературоведческого труда, они всегда были для нас примером настоящих само-забвенных ученых и преподавателей. Никого из них уже нет на свете.

Окончание университета было омрачено событиями и общественными, и личными. Шла пресловутая борьба с "космополитизмом", затронувшая многих людей, которых мы любили и уважали. А самим нам пришлось перенести тяжелые болезни и потерю восьмимесячного сына. Весь факультет помогал нам справиться с обрушившимся на нас горем. Теплота и участие верных друзей намного облегчили наше тогдашнее положение.

Университет был закончен. Получив направление министерства, мы отправились в северную Вологду. Для меня, родившейся в Ленинграде, это не было чем-то экстраординарным, но для Виктора перемена оказалась тяжелой. В первую же зиму, когда морозы достигали 30—40 градусов, он заболел тяжелейшей фолликулярной ангиной, как раз под новый, 1950 год.

Но вообще Вологда встретила нас приветливо. На вокзале нас ждал Иван Сергеевич Окулов, милейший человек, лаборант кафедры. На выдавшем виды грузовике был перевезен наш нехитрый скарб. Это были два чемодана с носильными вещами и три больших ящика с книгами. Ящики еще долго служили мебелью...

Скромная квартирка из двух комнат и кухни, сооруженная из бывших номеров на улице Папанинцев, показалась нам верхом роскоши. Под нами помещался ресторан "Север", откуда доносились дразнящие запахи ресторанныго меню или крики и брань подгулявших посетителей, которых выдворяли на улицу. В этом доме мы прожили 7 лет. Здесь родился наш второй Саша, здесь мы готовились к лекциям, яростно борясь со сном — времени, как всегда не хватало. Здесь Виктор писал кандидатскую диссертацию и книжку "Русские писатели в Вологодской области". Из-за нее пришлось

немало пережить, так как появившаяся в “Литературной газете” рецензия обвиняла автора в том, что он увлекается такими писателями, как Яшин, и недостаточно уделяет внимания народным демократам. Мало того, в одной из “закрытых” рецензий указывалось на следующий главный порок: в центре Вологды, мол, стоит дом, в котором отбывал ссылку И. В. Сталин, но для него не нашлось места в книге В. Гуры о русских писателях. Это указание, естественно, повлекло за собой проработку, и ряд членов кафедры клеймили автора за политическую незрелость. Безусловно, книжка имела много недостатков, но она явилась первой попыткой собрать и осмыслить большой материал, связанный с пребыванием многих писателей на Вологодской земле.

На страницах “Красного Севера” появляются различные публикации Виктора, он становится почти постоянным театральным рецензентом, членом художественного совета драматического театра, переживавшего в те времена пору своего расцвета. Виктор начинает печататься и в центральных журналах, а в сентябре 1953 года становится кандидатом филологических наук, успешно защитив диссертацию “Творческая история “Тихого Дона”. Впоследствии на ее основе выросла лучшая, на мой взгляд, его книга “Как создавался “Тихий Дон”. Научная степень, кроме морального удовлетворения, приносит нам повышение благосостояния, так необходимое для нашей увеличившейся семьи.

Несмотря на все трудности, жили мы весело. У нас была интересная работа, живое общение со студентами, круг замечательных друзей. Мы были молоды, веселы и даже беззаботны, несмотря на укоренившееся представление о том, что в сталинские времена вся жизнь носила на себе печать гнета и безрадостности. Скорее всего, мы просто научились не замечать постоянного давления и приспособились: сидели на партийных собраниях, не слишком вникая в их суть, выполняли общественную работу, стараясь по возможности облегчить это обязательное иго, принудительно-добровольно подписывались на займы и вставляли в свои лекции и научные работы

последние высказывания вождя и учителя, хорошо понимая, что они там нужны, как собаке пятая нога. Беспринципность? Может быть! Но ведь надо было как-то жить, печататься, защищаться... Справедливости ради следует сказать, что мы искренно оплакивали смерть нашего притеснителя... Если бы мне тогда сказали, что я когда-нибудь смогу свободно рассуждать на эту тему и меня за это не сошлют на Колыму, я бы не поверила...

Сколько времени и сил отнимала общественная работа у Виктора, когда его избрали секретарем партбюро факультета! Но отказалось было нельзя, даже ссылаясь на болезнь, — его тогда сильно мучила язва желудка.

А жизнь шла своим чередом, в 55-м году появилась дочка. К этому времени у Виктора созрело желание оставить Вологду, к климату которой он с трудом привыкал и “оттаивал” только летом в родной Николаевке. Хотелось куда-нибудь южнее, хотя бы в среднюю полосу России. Неожиданная удача: Виктор проходит по конкурсу в Московский университет, даже начинает там работать. Квартиры, конечно, не дают и никаких ясных перспектив в этом смысле нет, здоровье неважное, дети маленькие, а тут еще обком партии предлагает в случае отъезда положить на стол партийный билет. Словом, вместо переезда в Москву состоялось переселение в новую квартиру.

Надежды на теплые края не осуществились, но с этих пор постепенно Виктор душой повернулся к Вологде. В нем всегда была краеведческая жилка, и теперь он углубленно заинтересовался прошлым города, его культурой и внешним обликом, стал собирать открытки, рисунки, раздобыл старинный план города, узнавал старые названия улиц, церквей, места, где жили известные вологжане, оставившие какой-то след в истории. Он ощущал свою причастность к становлению института и особенно кафедры литературы, ему хотелось, чтобы они стали известны в Союзе и, когда ему довелось возглавить кафедру, он многое сделал для этого.

В 1956 году, став членом Союза писателей, Виктор немало способствовал возникновению в Вологде писательской организации и проведению семинаров молодых писателей, на которые приезжали А. Яшин, К. Коничев, С. Антонов, С. Орлов, М. Дудин и другие известные мастера.

В это время Виктор впервые побывал за рубежом. Дело в том, что язвенная болезнь продолжала его мучить, наши курорты не помогали, и мне пришло в голову отправить его в Карловы Вары. Этот всемирно известный курорт многим приносил облегчение. Виктор только рукой махнул на мои проекты, считая их абсолютно несбыточными, но я все же решила действовать и неожиданно нашла понимание в областной профсоюзной организации. После первого же курса лечения в Чехословакии в июне 1957 году Виктор почувствовал себя значительно лучше, а повторив его через несколько лет, практически избавился от болезни.

Все эти годы он работал над своей основной темой — творчеством Шолохова. В научных изданиях, в “толстых” журналах появлялись его статьи, вышла книга о Шолохове, адресованная школьному учителю. Совместно с писателем Федором Абрамовым был написан “Семинарий”, посвященный той же теме. Федор Александрович в связи с работой над этой книгой жил у нас почти месяц. Тогда еще его знаменитые романы были только в проекте. Он был известным литературоведом, преподавал в Ленинградском университете. Работали оба запоем, не замечая времени. Вспоминается такой случай: надо было навестить сына, который находился на даче с детским садом. С утра я пыталась отвлечь их от работы, но возникали все новые задержки, оторвавшись от книги было никак невозможно. Наконец добираемся до места на маленьком автобусе, который ныряет во все дорожные ухабы, и видим расположившихся на траве веселых детей с приехавшими вовремя родителями и несчастную мордочку нашего сынишки, уже без всякой надежды взглядывающегося в дорогу через окно — его даже на улицу не выпустили, пока мы не приехали. Отношения с Федором Александровичем были очень теплыми.

сандровичем были самые дружеские, книга получилась хорошая, но через некоторое время между двумя ее создателями “пробежала кошка”, которая, к сожалению, прервала эту дружбу. Не знаю, кто был прав, а кто виноват, но знаю, что Виктор тяжело переживал этот разрыв.

Часто из Ленинграда приезжал Константин Иванович Кони-чев. Его приезду обычно предшествовала открытка или фотография самого “дяди Кости” и просьба — приготовить соленые рыжики, да такие, чтобы пролезали в бутылочное горлышко. К счастью, тогда еще можно было найти этот редкий северный деликатес на рынке, сами-то мы не были большими мастерами по части сортирования и соления грибов. Константин Иванович был весьма колоритной фигурой. Большой шутник, он постоянно приправлял свою речь всевозможными остротами, поговорками, каламбурами, всегда забавлял нашу дочку — посадит ее на колени и даст свои карманные часы, которые, если мне не изменяет память, способны были воспроизводить какую-то незамысловатую мелодию.

Году в 60-м или в 61-м мы познакомились в Коктебеле с Евгением Андреевичем Пермяком. Способствовала нашему знакомству наша маленькая Наташа, которая в свои неполных пять лет была очень забавной и непосредственной. Она легко общалась со своим новым “другом”, а потом даже вступила с ним в переписку. Это побудило нас познакомиться с произведениями Пермяка и прочитать не только те детские книжки, которые он присыпал ребятам, но и его романы. Открыв для себя интересного автора, Виктор написал о нем книжку “Путешествие в мастерство”, вышедшую в издательстве “Детская литература”.

Таких интересных знакомств на протяжении нашей жизни было немало. Кто только не побывал в нашей вологодской квартире — и академики, и писатели, и литературоведы из разных концов страны. Да и сам Виктор объездил многие города, участвуя в конференциях, в мероприятиях Союза писателей. Самой интересной была его поездка на Дон и встреча с М. А. Шолоховым, который не

столько раскрывал секреты своего мастерства и творческие планы, сколько по старой памяти играл в карты и в качестве наказания за проигрыш заставлял залезать под стол. Думаю, что Виктор часто оставался в дураках, хотя и не был новичком в этой популярной игре, потому что мысли его были заняты совсем другим.

Всегда отличные отношения складывались у нас со студентами, особенно в молодости. Виктору было всего 24 года, когда он стал преподавателем, а некоторым его студентам порой и больше, и ходили они в таких же шинелях, как и он. Конечно, они отлично понимали друг друга и на первых порах вместе преодолевали некоторые премудрости филологической науки, хоть и были по разные стороны кафедры. И позже всегда находились близкие по духу, по интересам девушки и юноши. Сами молодые, мы с увлечением плясали на выпускных вечерах, не пропускали ни одного смотра художественной самодеятельности и болели за своих, нам поверили сердечные тайны, приглашали на свадьбы. Многие и сейчас помнят свои студенческие годы, пишут письма и приезжают повидаться.

В шестидесятые годы Виктор много занимался Вологодской писательской организацией, которая постепенно вставала на ноги. В городе и в области было много интересных авторов, иные вскоре стали знаменитыми. Были и начинающие, которых надо было поддержать. Из Архангельска приехал Иван Дмитриевич Полянов, с которым Виктора связывала большая дружба до последних дней. В творческих встречах участвовали писатели из Москвы и Ленинграда, многих влекло сюда то, что они сами были из наших северных краев — Юрий Арбат, Павел Кустов, А. Яшин, В. Дементьев, профессор К. Н. Ломунов и другие. В 1984 году вышла книга Виктора “Из родников жизни”, посвященная писателям-землякам. В эти же годы все мы, члены кафедры, были заняты работой в архивах и библиотеках — разыскивали памятники вологодского фольклора. Вскоре все это было напечатано, хотя добиться опубликования богатого материала было непросто. Издательство выдвинуло условие одновременно

представить материал и по советскому периоду народного творчества вологодского края, но ему пришлось довольствоваться обещанием, что это будет сделано позже. Правда, второй том так и не состоялся.

В 67 году сын поступил в университет, дочка перешла в шестой класс. Летом мы часто навещали маму Виктора и его сестру в Николаевске. Там он встречал старых друзей, обезжал хорошо знакомые ему окрестности, рыбачил, поливал огород. Допоздна засиживались мы на крылечке, слушая непрерывный звон цикад, наблюдая за пляской мотыльков вокруг огня и вдыхая аромат цветов, в изобилии растущих возле дома.

В начале 70-х годов мы купили дом в деревне Дулепово, в 20 километрах от Вологды. У Виктора появилось новое увлечение. Он выращивал огурцы, которые очень любил и поглощал их свежими прямо с грядки в неимоверных количествах. День снятия первого огурца становился праздником и первоначально фиксировался в специальном дневничке. С неменьшим старанием Виктор сажал возле дома деревья и декоративные кусты. Он приносил из леса небольшие елочки и сосны, которые сейчас так вымахали, что мешают ягодным кустам.

Вообще натура у него была азартная, увлекающаяся. Это проявлялось во всем, он ничего не мог делать равнодушно, размеренно. Едем мы в Дулепово на машине, на спидометре — цифра, намного превышающая допустимую скорость. Но впереди грузовик, его надо обогнать, обогнать во что бы то ни стало, и Виктор жмет на газ. Вдруг откуда-то из-за кустов возникает фигура гаишника. Останавливает, козыряет, просит документы. Хорошо, если только пошлет на лекцию, а то и прокол оставит в правах.

Все знали, как азартен он был в карточной игре — забывал все на свете, внуков любимых гнал от себя, чтобы не мешали. Но и зрелищем спортивной игры — футбола или хоккея — тоже увлекался беспредельно, особенно международными соревнованиями. И если наши проигрывали, очень расстраивался.

Помню тревожное время в 1975 году. Виктору поставили серьезный диагноз. Я часами высиживаю в облздраве, “выколачивая” направление на лечение в Ленинград, боясь, что у него будут мрачные мысли, зову друзей, чтобы не оставлять его одного, а он, забыв обо всех неприятностях, сидит у телевизора и радуется каждой забитой шайбе. Ему было тогда 50 лет. Болезнь его пощадила, вскоре он оправился, но следы остались. Стала болеть нога. Он, конечно, не обращал на это внимания, работал по-прежнему, но к концу учебного года очень уставал. Дача во многом заменила нам южные красоты. Каждый год сюда приезжали дети и внуки, но родину он не забывал и последний раз побывал там в сентябре 91-го года. Отдал последний поклон. Его интересовала история некогда знаменитой своим хлебом Николаевской слободы, история своего рода, судьбы одноклассников, особенно — прошедших войну, на которой многие полегли. Он считал своим долгом написать о них, но не успел. В его архиве осталось много писем, фотографий, фотокопий различных материалов. Всему этому, как и многому другому, не суждено было стать книгой.

В октябре 91-го года в вологодской больнице, чувствуя себя еще вполне бодро, он дописывал последний рассказ о своем детстве. Самый конец никак не давался и был отложен на потом, когда выздравеет. Но не выздравел...

Я помню его разным. Веселым и остроумным в компании друзей. Поглощенным своим трудом за письменным столом, когда, бывало, не дозволишься его к обеду. Я помню, как он любил возиться с маленькими детьми. Я слышу звук его низкого голоса, доносившегося из аудитории, когда он читал лекцию. Я помню его ершистым, непримиримым, упрямым, а порой и нетерпимым — характер у него был сложный.

И я помню последние дни в больнице, когда он был таким кротким, совсем не похожим на себя. О чём он думал? Что чувствовал? Это вспоминать невыносимо тяжело. Так несправедливо мало было ему отпущено жизни. Всего 66 лет. И из них 44 года мы были вместе.

ФИЛФАК НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

Центральная городская площадь в Саратове замысливалась ее создателями как своеобразный оазис науки и искусств среди каменной и деревянной обыденности жилых, торговых и фабричных построек. В одном ее углу стоит двухэтажный особняк с колоннами по фронтону — художественный музей. В другом — торжественную колоннаду венчает лира — театр оперы и балета. В третьем — здание областной библиотеки с читальным залом, а в другом его крыле — лучший в городе кинотеатр.

В четвертом углу, словно утлыи кораблик, одиноко и обособленно трепыхается на широких асфальтовых волнах старенький двухэтажный особнячок филфака Саратовского университета.

Наверное, в какой-нибудь более европейской державе эту площадь так бы и нарекли — Науки и Искусств. Или еще более экзотично — Мысли и Духа.

В Саратове она называется площадь Революции.

На этой самой площади мы и встретились с Виктором Гурой в первых числах сентября сорок седьмого. Он был годом моложе, а отвоевался раньше меня. И пока я уже в мирной армии стоял на караулах, учил новобранцев и отбояривался от военных академий, он успел наверстать упущенное, сдал экстерном и перешел на 4 курс; а я в это время, как салага, начал с первого.

Сначала этот белобрюхий, невысокий, моего роста паренек с голубыми чуть навыкате глазами, не произвел на меня особого впечатления. Он был вечно занят, несколько сутулился, как я решил, оттого, что не выпускал из рук битком набитый портфель. С сокурсниками он вел умные разговоры о спецкурсах, семинарах, курсовых, по-свойски общался с преподавателями-фронтовиками Евграфом Ивановичем Покусаевым, Марией Несторовной Бобро-

вой, вел беседы о судьбах родной литературы с такими корифеями, как Александр Павлович Скафтымов, Юлиан Григорьевич Оксман, для которого Саратов стал перевалочным пунктом между ссылкой и его родным Пушкинским Домом.

От ребят я слышал, что Гура заканчивает какой-то сугубо научный справочник о творчестве Шолохова и будто бы этот трактат будет даже издан отдельной книжкой. Вроде бы даже есть решение ученого совета. “Треп, — подумал я, — чтобы студент и вдруг выпустил книжку”.

Но вот то, что студент Гура активно выступает в областной газете “Коммунист” с рецензиями на произведения местных писателей, с которыми он знаком лично, а с поэтом и известным хохмачом Исаием Тобольским он даже на “ты”, что он на факультете возглавляет творческую секцию, это меня крайне заинтересовало. Без внутреннего священного трепета я не мог слышать слово “редакция”, конечно, я писал и даже начал печататься, правда, всего лишь в нашей дивизионной газете.

По приглашению Виктора на творческую секцию приходили известные саратовские писатели — Александр Матвеенко, Борис Неводов, Григорий Боровиков, Виктор Тимохин.

Первый же наш разговор с Виктором решил все: мы свои. Оказалось, что он тоже волжанин, родом из Николаевска, маленько-го городка, что стоит напротив Камышина — это вниз по Волге от Саратова. А главное — Виктор воевал на нашем же 3-м Белорусском фронте. И мы в разных частях, он — в 215-й стрелковой дивизии, а я — в 11-й гвардейской артиллерийской бригаде, шли почти одними военными дорогами: Смоленск — Орша — Борисов — Минск — Вильнюс. А закончили эту войну в Восточной Пруссии, штурмовали Кенигсберг.

В этот же день Виктор затащил меня к себе. Оказалось, он уже успел и жениться и вместе с Ирой, милой, черноглазой, улыбчивой и остроумной своей однокурсницей жил в студенческом общежитии на Вольской. И — надо же: имел отдельную комнату! Правда,

комнатой ее можно было назвать, только обладая недюжинной фантазией. Представьте двустворчатый шкаф, где вместо одной торцовой стенки проделали дверь, а вместо другой — окошко. Но они в этот шкаф умудрились втолкнуть узкий топчан, который заменил супружеское ложе, тумбочку и один стул. А вместо одной из боковых стенок располагалась книжная полка — от пола до потолка!

Эта полка сразила меня окончательно. Я тут же принялся хотя бы глазами прощупывать каждую книжку. А здесь было чему порадовать душу книгоочея. И как умудрились эти двое на скучную стипендию, когда и хлеб-то продавался по карточкам, и ни тому, ни другому из дома не помогали, собрать эдакое сокровище — уму непостижимо. Но именно она, эта роскошная гуровская полка и подвигла меня немедля сколотить из досок подобный стеллаж. С этого началась и моя библиотека.

А на самой нижней полке персональной библиотеки супругов Гура стояли впритык одна к другой обычные канцелярские папки. Оказалось, глава семейства хранил тут свои рукописи, в том числе, как он признался по секрету, и большого задуманного им романа. На нескольких папках четким почерком Виктора было написано: "М. А. Шолохов. Био-биографический справочник". Ага, смекнул я, значит, не треп. В этих папках лежали копии писем, которые автор будущей книги отправил в редакции журналов и газет, в издательства, в архивы, в отделы периодики, в различные библиотеки страны с просьбами сообщить, где, когда и что публиковалось из произведений М. А. Шолохова, начиная с 1923 года и до сегодняшних дней. К письмам были аккуратно приколоты ответы. Кто только не печатал Шолохова! Российская ассоциация писателей, газета "Пролетарская мысль" (Златоуст), "Соц. Осетия", газета "Батрак", журнал "Прожектор", ну и, конечно, "Правда", "Огонек", "Красная звезда" и т. д. и т. д.

Собрано все, что напечатано о Шолохове, о его творчестве. Материалы к его биографии, беседы с писателем, справки о тиражах его книг.

Собрано все, что издавалось на польском, финском, турецком, французском, шведском, японском и иных языках. Тысячи писем, тысячи ответов, справок. Уникальная картотека. Вот это работа!

— Слушай, — изумился я, — когда ты все это успеваешь? Ведь еще и лекции, и семинары, дипломная...

— Он уже материалы для кандидатской собирает, — улыбнулась Ира.

— Не может быть!

— Саша, он одержимый. Он сидит ночи напролет.

— А как же личная жизнь?

— Какая там личная жизнь, — засмеялась Ира, — в театре целую вечность не были, в музее Радищева — пару раз, и то наскоком...

С Виктором мы засиделись за полночь. Многое в этой нашей беседе было для меня без преувеличения откровением. Это был по-настоящему первый профессиональный разговор о литературе, о журналистике. И многие понятия, бывшие до того для меня как бы отвлечеными, такими, как “гранка”, “корректура”, “авторская правка”, “внутренняя рецензия” обретали вполне конкретный смысл. Этому не учили не только в школе, но и в университете. Надо сказать, что супруги как бы дополняли друг друга. Ирина прекрасно знала поэзию, много читала наизусть, отлично разбиралась в западной литературе. Память что у одного, что у другого была отменная.

Пожалуй, один такой вечер в общежитском “шкафу” значил побольше целого семестра.

Конечно, я стал самым активным членом творческой секции, читал там свои опусы, их обсуждали, критиковали, и довольно неллицеприятно. У нас был такой порядок: вещи объемом побольше переписывались от руки и вывешивались в одной из аудиторий. Каждый, кто хотел, мог почитать, прийти на секцию, высказать свое мнение, послушать другие умные речи. Надо сказать, что и председатель спорил вместе со всеми, не изображал из себя ментора, не

делал окончательных и непререкаемых выводов. Этим и нравилась наша секция, да и не мне одному. К нам на огонек часто заглядывали и преподаватели — Евграф Иванович Покусаев, ершистая, непримиримая Любовь Петровна Жак, приходили ребята с других факультетов.

Но не надо забывать: это был 1947 год. Совсем недавно опубликованы небезызвестные постановления ЦК о журналах “Звезда” и “Ленинград”, о репертуарах драматических театров, о кинофильме “Большая жизнь”, опере “Великая дружба”. А меня только что избрали секретарем комсомольской организации факультета. И мне пришлось выступать с докладом и повторять вслед за А. А. Ждановым, что произведения, опубликованные в ленинградских журналах, направлены на то, чтобы “дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание”.

Убедить в этом аудиторию было довольно непросто. Хотя бы потому, что эта самая “отрава” была у многих, можно сказать, на устах: “Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках”, “Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение”, “А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги”.

Если это и отрава, то очень веселая.

Поэтому мне пришлось искать что-то свое, доморощенное. В нашу секцию ходил один поэт Борис Б. Стишки он кропал хоть и гладенькие, но идейно, конечно, незрелые. Так, скажем, во время летних каникул наш Боренька впервые навестил белокаменную, а по возвращении разразился целым циклом виршей. Что же его поразило в столице нашей великой Родины? Московское метро? Выставка достижений народного хозяйства (тогда, правда, она называлась ВСХВ)? Большой театр? Третьяковская галерея? Ничего подобного. Его поэтическая музя была безраздельно отдана на воспевание маленьких церквушек, часовенок, которых, как известно, в Москве несть числа.

На секции мы покритиковали поэта и по-дружески посоветовали не умилиться каждой церковной сторожке, а рассказать миру, чем люди живут сегодня, о чем мечтают строители новой жизни. Надо сказать, что у поэта нашлись защитники, которые отстаивали право художника говорить с народом о том, о чем он хочет.

Поэт на нас обиделся и демонстративно вывесил свои стихи в самой большой 9-й аудитории — на всеобщий, так сказать, суд.

Его-то я и покритиковал в докладе. Конечно, ни о каком отравлении сознания молодежи я не говорил, поскольку стихи издавались тиражом в один экземпляр, не призывал я и устраивать стихотворцу политическую обструкцию. Тем не менее опять выступили его защитники и повторили свои доводы о праве художника. А один из выступавших известный наш демагог Олег И. неожиданно обрушился на самого докладчика. Не на Жданова, конечно.

— Рассказы Сукинцева, — заявил он, — написаны в зощенковской тональности.

В последующей своей жизни я сорок лет был тесно связан с “Крокодилом”, регулярно там печатался, выпускал книги в крокодильской библиотечке, был членом редколлегии и никто никогда мне так не польстил, не сравнил меня с корифеем нашей сатиры.

Но тогда, в сорок седьмом, от такого сравнения было как-то неуютно. Тем более, что потом некоторые ортодоксы стали требовать принять решительные меры, разогнать секцию и т. д.

И вот вышел на трибуну Виктор Гура.

— Я выступаю здесь как руководитель творческой секции, — сказал он, — и потому несу прямую ответственность за идейный уровень первых литературных опытов моих товарищей по секции.

Виктор поблагодарил всех, кто выступил с критикой, и сказал:

— Все мы сегодня учимся. И эта творческая принципиальная критика пойдет нам на пользу. Отныне мы будем еще и еще строже подходить к нашему творчеству.

И этим своим выступлением Гура как бы поставил точку, охладил пыл самых рьяных критиков, жаждавших крови. В свои два-

дцать два года он оказался мудрее не только своих товарищей, но и многих штатных идеологов.

Дело тут не в том, что мой друг был человеком отчаянной храбрости и рубил сплеча правду-матку. Свою храбрость он доказал на фронте. На фронте же идеологическом всегда иные правила игры, как теперь модно выражаться. А в ту пору — особые. Нас, фронтовиков, хотя бы первые годы, не то чтобы побаивались, но как-то выделяли среди других студентов. Мне запомнилась сценка, происшедшая на одном из тех же идеологических комсомольских собраний.

Один из представителей вузкома услышал какую-то реплику из рядов, которая ему не понравилась.

— Встаньте, выйдите на трибуну, — потребовал он от сказавшего, — и повторите, что вы сказали.

Тот отказался.

— Вы на фронте были? — спросил на всякий случай высокий представитель.

— Нет, не был.

— Вы трус! — смело обрушился он на необстрелянного студента.

Конечно, подобных демагогов вполне могли бы одернуть наши старшие товарищи, преподаватели, люди более опытные, знающие. Но беда в том, что у многих из них опыт-то был, но только больно уж горький. Я уже упоминал Ю. Г. Оксмана, ученого с мировым именем, который много лет подшивал зэкам валенки. У не менее авторитетного профессора А. П. Скафтымова была репрессирована жена. Третий наш преподаватель во время войны попал в окружение.

А с другой стороны, в свои двадцать с небольшим лет мы несмотря ни на что были убеждены в непоколебимой правильности решений ЦК, свято верили в то, что они помогут “правильно воспитать молодежь”, воспитать новое поколение “бодрым, верящим в свое дело... готовым преодолевать всякие препятствия”...

Чего-чего, а препятствий у нас хватало. А у женатых студентов их вдвое, втрой. Вот и мои друзья. Напрасно я беспокоился об их личной жизни, Гура успевал везде. Короче говоря, трудно было не заметить, что Ирина готовится стать матерью. В молодой семье радость! Вот только куда ставить кроватку? В шкафчике ни одного свободного миллиметра площади. Выкинули стул, тумбочку, как непозволительную роскошь — выкрутились. Главное — появился человек! Мальчик по имени Саша.

Но радость была недолгой. И мальчик, и мама заболели. Саша умер. Мама вернулась из больницы худая, почерневшая и... стрижена наголо. И это наша Ирина...

Однако время шло. Они, теперь уже преподаватели, с еще большим остервенением набросились на книги. В конце концов оба стали кандидатами наук, а Виктор Васильевич, которого мы уже давно именовали между собой профессором, через некоторое время защитил и докторскую. Они уехали в ставшую им бесконечно родной Вологду, но всякий раз, когда Виктор приезжал в Москву, мы непременно встречались. Или у меня дома, или в "Правде", где я работал последние двадцать лет. Не раз я был свидетелем бесед В. В. Гуры с первым редактором Шолохова Ю. Б. Лукиным, старейшим правдистом. Очень жалею, что не вел записи их бесед.

Вообще друг мой бывал на Москве, как говоривали в старину, довольно часто. Наезжал он в столицу и по писательским, и по издательским надобностям, кроме того он много лет являлся непременным членом комиссии Министерства просвещения. Бывал он проездом из Вологды в Вешенскую или на обратном пути. Приезжал на встречу с ветеранами своей дивизии. Иногда к нам присоединялся однополчанин Виктора Васильевича Сергей Иосифович Осьмак, дослужившийся уже в мирное время до генеральского звания. Был я и на защите докторской в Московском пединституте им. Ленина.

Несколько раз гостил я у Гуры в Вологде, рыбачил с ним на Пучкасах, на Белом озере. И везде, всегда вели нескончаемые

разговоры — за литературу, за жизнь, как говорят в Одессе. О нас самих: какими были, какими стали. На многое вперед не загадывали, но вместе встретить пятидесятилетие нашей Победы — об этом условились. Увы, не придется...

В одну из последних наших встреч он читал мне свои рассказы о детских годах, о милом волжском городке, о забавах и заботах, о товарищах тех далеких и потому романтических лет. Рассказы проникнуты неизбывной детской мечтой о счастье, которое обязательно постучится в двери твоего дома. Оно придет потому, что за него, за это счастье, совсем-совсем близко от Николаевска, за Волгой, на Дону, на тихом Дону, бился Григорий Мелехов, где вот сейчас, сегодня воюет за новую жизнь в донской станице Гремячий Лог питерский матрос Давыдов. Отчаянно отбивается он от разъяренных женщин, чтобы сохранить семенное зерно для будущего урожая, для детей. И где-то совсем рядом от дома, в верховьях Дона уже на Великой Отечественной отдаст свою жизнь за свободу Родины солдат из крестьян Василий Гаврилович Гура. Чтобы у всех детей Советского Союза было вдоволь еды, какой хочешь, самых интересных книжек, и у каждого мальчишки свой велосипед...

Конечно, сейчас, рассматривая то время сквозь полуночную призму, мы многое оцениваем по-иному. В том числе и идеологические бои, которые велись сразу после войны и вообще чересчур заидеологизированную нашу жизнь и многое другое из заскорузлого арсенала наших казарменных пропагандистов.

Все это — лишь шелуха, нарост на здоровом теле самой благодатной идеи социального переустройства общества, о котором мечтали простые люди и за которое боролись революционеры предшествующих поколений. К великому сожалению, вместе с шелухой безжалостно и будзумно выбрасывается нынче на свалку все, с таким трудом и с кровью завоеванное нашим народом.

В Москве, кажется, все уже переименовали: площадь Борьбы, площадь Коммуны, площадь Восстания. Можно переименовать и

саратовскую площадь Революции. Назвать ее если уж не площадью Мысли и Духа, то Театральной, каковой она и была до ноября 1918 года.

Ну а куда денешь А. Н. Радищева, именем которого назван художественный музей? “Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала”.

А как быть с земляком-саратовцем Н. Г. Чернышевским, чье имя носит театр оперы и балета? Как быть с его мечтой о свободном труде свободных людей?

Это — не переименуешь.

Можно сделать вид, что писателя Михаила Шолохова в нашей отечественной литературе вовсе и не существовало. Послушные воле временщиков некоторые наиболее верноподданнические газеты, радио и — особенно — телевидение уже вычеркивают советскую литературу из нашей жизни. Можно вылить еще один ушат грязи на Шолохова, но его книги, как и книги других замечательных советских писателей, остаются не только на книжных полках, но в умах и сердцах миллионов читателей.

Советская литература “духовно и эстетически обогащая современника, и сегодня уверенно служит познанию Мира и Человека”. Так писал профессор Виктор Васильевич Гура в своей главной книге “Роман и революция”.

И это — объективная реальность, от которой никуда не уйти.

О ТОВАРИЩЕ И ДРУГЕ

Как хорошо и легко бы — написать Вите письмо... А еще лучше — позвонить по телефону:

— Алло! Витя, привет!

— А, это ты, Томсик?

Но как трудно то, что мне предстоит. Но нужно, и я по зову сердца должна это сделать.

Несколько лет тому назад я написала историю своей жизни. Погрузилась в прошлое. Там было много утрат, потерь самых дорогих и близких людей. Но это было давно и уже ушло в воспоминания. А Виктор не уходит. Слишком свежо. А может быть потому, что покинув Вологду и оставив там Иру, Витю и других моих друзей, я привыкла, что, они там, в Вологде, и общение наше затрудняется лишь расстоянием... Но жизнь необратима. Приходится вспоминать. Не ему меня (я на шесть лет старше), а мне его.

Мой муж и свекровь осенью 49-го года приехали в Вологду на два месяца раньше меня и, будучи поселенными в страшноватом доме на рыночной площади (над рестораном "Север"), уже успели познакомиться с соседями по общежитию — Ирой и Виктором Гура. Мое же знакомство с ними состоялось вскоре после моего приезда.

Нам дали комнату в общежитии № 4 на Маяковского, 8. Мебели — два черных стола (из учебной аудитории), один — как бы обеденный, другой — как бы письменный, пара табуреток, тумбочка. Книги — эмбрионы будущей библиотеки — разложены по полу вдоль стенки.

В момент появления гостей я почему-то сидела на "письменном" столе и, по позднейшему утверждению Виктора, "болтала левую ногой". Впечатление, произведенное мною на молодых супругов,

можно выразить одним словом: “фифа”. Я упоминаю об этих комических деталях первой встречи именно потому, что позже в своих “новогодних мемуарах” Витя не раз воспроизводил эту сцену. Поясню: при наших постоянных совместных встречах Нового года Ира, я, Борис Николаевич Головин, Олег Владимирович Шайтанов “ударяли” по стенгазетам, эпиграммам, виршам, а Виктор выступал с “мемуарной” прозой.

Мне, ощущавшей себя уже немолодой женщиной (31!), Виктор показался совсем мальчишкой. Да он и был мальчишкой по внешнему облику и годам. Но не по жизненному опыту: и участие в боях Отечественной (артиллерист на самоходке!), и смерть первенца — Сашки — все это узналось позже. А в ту первую встречу разговор зашел о другом. Я перед самой войной окончила филфак Ленинградского университета, который вскоре эвакуировался в Саратов, где завершал свое высшее образование и откуда приехал в Вологду Виктор. А я оказалась в Вологде, только что “отбыв” аспирантуру на том же филфаке ЛГУ. Естественно, что разговор завязался о наших общих “знакомых” профессорах, университетских кумириах. Но была осень 49-го года, громили “космополитов”, Григорий Александрович Гуковский арестован и брошен в тюрьму, и говорить откровенно на эти темы при первой встрече с незнакомым человеком не очень-то хотелось. И моя настороженность тоже запомнилась Виктору.

А потом, как-то очень скоро, получилась дружба “на всю оставшуюся жизнь”. Дружили и семьями, и по кафедральной линии. И личность Витьки, Вити, Виктора, Виктора Васильевича Гуры раскрывалась во всей своей человеческой многослойности.

Радостно вспоминать то время. Мы были молоды, формировались семьи, рождались и росли наши дети, началась и на долгие годы потекла наша профессиональная жизнь. Крайняя убогость нашего быта постепенно сменялась просто убогостью, а позже — даже некоторым комфортом. И хотя последнее радовало, оно никогда не

становилось главным. О чем только не говорено за тридцать лет, но деньги, деньги, деньги — никогда не занимали хоть сколько-нибудь значительного места в наших беседах.

Главное, что вспоминается — это удивительный стиль нашей жизни, наших отношений. Отношений простоты, открытости, взаимодоверия и неафишируемого взаимоуважения...

“Как молоды мы были”, как весело мы жили... Вспоминаются наши дружеские встречи по разным и, особенно, новогодним праздникам. С непрятательным весельем, придумками, шаржами, играми и безудержным смехом. И надо сказать, что Виктор всегда был на высоте, он излучал искреннюю, чуть озорную и детскую веселость. Его “мемуары” на тему “Дни нашей жизни” отличались точностью наблюдений и неподдельным юмором. Помню, как на одном моем дне рождения он собрал все врученные мне “дамские” подарки, надел на себя и предстал перед нами во всей красе.

Вспоминаются и выпускные студенческие вечера, на которых Виктор Васильевич, окруженный студентами (в большей мере — студентками), вел с ними душевые беседы, танцевал до упаду, а потом бродил с ними по уже светлеющим улицам Вологды.

Конечно, природная веселость с годами и болезнями пропадала реже, но партнеры Виктора по карточной игре в “дурака” (увлечение В. В. в последние годы) утверждают, что он был необычайно азартным игроком.

Может быть, слово “азартен” — применительно к игре в дурочка или ведению спора — точно характеризует Виктора, но оно не охватывает всех сторон его личности, которые всплывают в моей памяти. Хочется сказать слово “жизнелюбие”, понимаемое как жадность к жизни, вкус к ней. Пишу эти слова и почему-то вспоминаю сцену из “Первых радостей” Федина. Цветухин с Пастуховым завтракают. Пастухов с наслаждением намазывает масло на редиску и с хрустом раскусывает ее крепкими зубами... Способность ощущать вкус даже маленькой радости...

Виктору дано было испытывать удовольствие от каждого дела, за которое он сам брался, стремясь к добротности и основательности результата.

Я говорила, что от нищеты наша ВГПИ-вская братия постепенно шла к комфорту. И, надо сказать, в этом процессе лидировала семья Гуры (благодаря материальным результатам непрерывного научно-литературного труда Виктора). В семье Виктор Васильевич был хозяином, и по-хозяйски, основательно “обустраивал” семейный быт. Помню, как доволен он был, когда ему удалось приобрести добротный, хорошей работы столовый гарнитур. Он радовался, как ребенок. Когда Гуры купили в деревне дом, то есть зaimели дачу, Виктор увлеченно, много и долго работал молотком, пилой и лопатой, нырял в премудрости огородничества, чтобы эта дача стала результатом его труда, его творением, его детищем.

Но ни один из видов труда не вызывал в Викторе такого любовного отношения, как тот, что составлял пафос его жизни, — труд научно-исследовательский. Я не стану и не в состоянии говорить о Викторе как об ученом, о его научном потенциале, его книгах, статьях, организаторской деятельности, месте в отечественной науке, его научном авторитете. Я хочу только, если смогу, набросать несколько штрихов, уточняющих человеческие черты в общем портрете этого крупного ученого.

Несомненно, все, чего добился Виктор в науке, — результат не только ума и таланта, но и необычайного трудолюбия. Он работал, работал и работал. Упорно и методично. Основательность и тщательность его научных исследований имели в своем фундаменте культуру труда. Меня всегда потрясал порядок в его учебно-научном хозяйстве. Все учтено, зафиксировано, разложено, систематизировано. Таков он был с первых шагов по пути в науке и до последних своих дней. Школа Скафтымова в Саратове была пройдена недаром.

И писал Виктор не с тоской (как, бывало, я, выполняя план научной работы), а с удовольствием. Когда он читал что-либо из

написанного (вспоминаю, как в один из последних приездов в Ленинград Витя читал мне рассказы о своем детстве), он как бы заново переживал сам творческий процесс, любовно перевертывал страницы, почти гладил ладонью бумагу, радовался удачно найденному образу, фразе... Одним словом, — Пастухов и редиска.

Виктор пришел преподавателем в институт прямо со студенческой скамьи. Период адаптации был почти нулевым. А затем В. Гура стал стремительно обгонять нас, тоже начинающих. Не успели оглянуться — “Русские писатели в Вологодской области”, глазом не моргнули — кандидат филологических наук... и т. д. и т. п.

Нашей кафедрой заведовал Геннадий Иванович Лебедев, скромный и очень порядочный человек. Но как-то так получилось, что постепенно фактическим организатором и руководителем кафедры в области научной работы стал В. В. Гура. Он вовлек нас в грандиозное научное собирательско-исследовательское действие, был увлечен им, увлек нас. Результатом стал сборник (увы, с очень урезанным издательством научным аппаратом) “Сказки, песни, частушки Вологодского края”.

А когда Геннадий Иванович, понимая расстановку сил на кафедре, решил уйти с поста ее руководителя, то, естественно, передал эстафету Виктору Васильевичу. У нас на кафедре при Лебедеве был замечательный микроклимат, и Гура вовсе не рвался к власти. Это был естественный процесс, все встало на свои места. Пролетело несколько десятилетий, а я в деталях помню то заседание, когда один завкафедрой сдавал свои полномочия, а другой их принимал... Как это было красиво и трогательно! Какая высокая этическая норма взаимоотношений коллег была задана и продемонстрирована миру (заснять бы на телевизионную пленку!).

Давно известно, а нам, россиянам, теперь особенно, что власть деформирует, портит человека. Парадокс в том, что Виктора Васильевича власть не испортила, более того, какие-то положительные его качества получили возможность большего проявления. Виктор Васильевич сумел сохранить на кафедре прежний психологический

климат демократичности и простоты. Человек он был прямой, порой резковат, но верен в обещаниях (он был верен вообще, во всех сферах своей жизни), не вынося интриг, пресекал даже намеки на кафедральные ссоры и, главное, проявлял очень большую доброжелательность ко всем своим коллегам по кафедре, всегда был готов оказать им поддержку.

Ради истины следует сказать, что из-за этой доброжелательности, замешанной на излишней доверчивости, он, бывало, и ошибался в людях. Да кто же не ошибается?

В годы заведования кафедрой получила простор организаторская деятельность Виктора Васильевича. Межвузовские научные конференции в Вологде с широкой и хорошо продуманной программой, радушным приемом гостей и итоговыми сборниками заслушанных докладов очень и очень повысили рейтинг нашей кафедры в союзном масштабе. Доподлинно знаю, что бывавшие на этих конференциях долго хранили самые теплые воспоминания о них.

Бытовал в те годы один официальный, осуждающий, клеймящий, настораживающий термин — “семейственность”. Все годы на кафедре рядом с Виктором Васильевичем, а потом под его началом работала его жена Ирина Викторовна. И отношения зав. кафедрой В. В. Гуры и И. В. Гура — доцента кафедры, доказывают, что в условиях человеческой порядочности разговор о “семейственности” — нелепость и пошлость. Я бы сказала, что к доценту И. В. Гура зав. кафедрой относился требовательнее и строже, чем к другим членам ее.

А вот с начальством Виктор Васильевич не всегда ладил, никогда не допуская, чтобы кто-то, формально и по должности стоящий выше, задевал его человеческое достоинство. Он ощущал свой профессиональный вес и последовательно отстаивал позицию своей независимости.

Что касается лично меня, я очень многим обязана Виктору. Он протянул мне руку помощи в один из самых трудных моментов

моей жизни. По семейным обстоятельствам я переехала в Ленинград (квартира, прописка — все там) и оказалась без работы в явно критической ситуации. И не знаю, что было бы со мной, если бы не Виктор Васильевич Гура (зав. кафедрой), Олег Владимирович Шайтанов (декан) и Николай Михайлович Хохолков (ректор), усилиями которых, особенно Виктора, мне была создана возможность еще 7 (!) лет, до пенсионного срока, проработать в ВГПИ, не имея вологодской прописки. А времена-то были строгие. Напоследок меня даже в милицию потащили: какое вы имеете право работать не по месту жительства, не будучи прописанной в Вологде? Хотели даже “по этапу” в Ленинград выслать. И на факультете раздавались голоса: почему это Беседина продолжает работать на кафедре? Но В. В. Гура и О. В. Шайтанов давали этим “голосам” должный отпор. До сегодняшних дней хочется сказать: “Спасибо тебе, Виктор! Спасибо Вам, Олег Владимирович!”

Были ли в моих отношениях с Виктором ссоры, размолвки? Конечно, были. Он, например, долго сердился на меня за очень резкую оценку книжки одного из доцентов кафедры, полагая, что во мне говорит личная неприязнь к автору. Позже он убедился в моей правоте. Случались и другие причины. Но все эти эпизоды не нарушали наших крепких дружеских связей.

Быть может, читающим эти строки покажется, что я изобразила В. В. Гуру какой-то совершенно идеальной личностью. Был ли он во всем идеален? Конечно, нет. Ничто человеческое было ему не чуждо. Однако, его недостатки лежали на поверхности, доступные взгляду каждого, а вот глубоко лежащее благородство натуры не всякому было заметно. Но не о недостатках сейчас речь. И мне они не заслоняют того, что составляло сущность, основу и обаяние личности моего слишком рано ушедшего из жизни товарища, друга.

И еще один штрих. Мужество. Вероятно, еще в те далекие военные годы младший лейтенант Виктор Гура научился смотреть в глаза опасности и смерти, преодолевать страх перед ними. И когда внезапно на него обрушилась страшная болезнь, он не спасовал.

Виктор лечился на Песочной под Ленинградом, я уже “отпочковалась” от ВГПИ, мы неоднократно встречались у меня дома, и он потрясал и покорял меня своим достойным и мужественным отношением к своей беде. Медицина и воля к жизни подарили Виктору еще полтора десятка лет. Говорят, что и в последние дни своей жизни он проявлял то же мужество. Я не видела его в эти дни, не была в Минске на похоронах. Вероятно, потому в моем сознании и памяти он остался живым, таким, каким бывал в давние и последние годы.

Я не знаю, бессмертна человеческая душа или нет. Но я верю в другое. Я верю, что каждый человек оставляет в мире свой след, долгий или короткий, светлый или темный. Его дела, поступки, мысли, чувства остаются жить в памяти людей, в памяти родных, друзей, потомков, поколений. И пока человека помнят, он существует. В какой-то неведомой нам форме, но существует. И дай Бог каждому оставить после себя такой хороший, добрый след, какой оставил мой коллега, мой хороший товарищ и друг — Виктор Васильевич Гура.

“УЗНАВАНИЕ” ДО ВСТРЕЧИ

Чтобы по-настоящему понять человека, требуется время. Но бывают в жизни такие ситуации, когда по одной малой житейской истории сразу открывается истинная суть человека. Именно так я узнала Виктора Васильевича, причем, еще до личной встречи с ним. И как бы потом ни складывались наши отношения (а они бывали разными за годы совместной работы), это первое впечатление осталось непоколебленным.

Наша история началась в далекие 70-е годы на одной из научных конференций, которыми славилась вологодская кафедра литературы. Тогда Виктор Васильевич пригласил на работу моего мужа Анатолия Михайловича Микешина. Жили мы в Сибири, работали в Кемеровском университете, но по ряду причин хотели уехать. Виктора Васильевича не останавливало то, что удерживало других заведующих, а именно — что нужный специалист привезет жену-литератора, и устраивать на кафедру придется двоих. Кроме того, он твердо обещал помочь нам с квартирой. Неудивительно, что мы с радостью приняли предложение и стали готовиться к отъезду.

Но завертелась совсем другая карусель: вызовы в обком партии, хождения в прокуратуру. В атмосфере сегодняшней свободы нелепым и даже смешным выглядит наше растянувшееся на годы “великое переселение” из Кемерова в Вологду — через Кострому. Но жесткость времени по отношению к личности, пресс партийной и гражданской дисциплины были таковы, что наш переезд вообще не состоялся бы, если бы на месте Виктора Васильевича был другой человек, без того обостренного чувства ответственности за людей, в чью жизнь он вмешивался хотя бы и простым приглашением на работу. И когда переезд сорвался — не по его вине (в Кемеровском обкоме не подписали мужу характеристику и угрожали исключением “из рядов”, если он уедет), Виктор Васильевич не отступил от нас и счел необходимым участвовать в дальнейших хлопотах.

Горько и смешно вспоминать борьбу за право уехать. Присланые в Кемерово по распределению из московской аспирантуры, мы отработали в Сибири не положенные тогда молодым специалистам три года, а 15 лет. Но и после них, заложники Системы, не имели никаких прав. Видя нашу растерянность, В. В. Гура посоветовал стать инициатором отъезда мне, беспартийной. Действительно, после месяца хождения в прокуратуру я получила желанный документ, чтобы участвовать в конкурсе. Но к характеристике, добытой с таким трудом, сделали угрожающую приписку о том, что Кемеровский университет сам нуждается в кадрах и о том, что я не рядовой доцент, а жена заведующего кафедрой, который не собирается уезжать. Партия стояла на страже семьи!

Итак, план рушился, в Вологде правил свой обком, В. В. не был всесилен. Казалось, можно подводить черту. А Виктор Васильевич уже успел договориться о квартире... Позднее, когда все устроилось, он, глядя на наше непрезентабельное, полученное с опозданием вологодское жилье, напоминал об упущенном шансе.

Но это будет потом, когда мы все-таки переедем, подружимся семьями, а в те не легкие для нас дни он думал, как помочь, искал выход. И хотя нас можно считать почти ровесниками ("наша разница в возрасте невелика, полдесятка не будет годов"), в тех обстоятельствах наглядно проявилось его старшинство, ибо он был, по слову того же поэта Межирова, старше нас "на Отечественную войну". В характере его война развила и укрепила решительность, инициативность, ответственность за других. Это сказалось на его отношении к нам, особенно ко мне. Ведь со мной он не был даже знаком.

Впоследствии коллеги высказывали предположение, что он все-таки имел какое-то представление обо мне, возможно, читал мои (немногие!) статьи о поэзии, слышал отзывы. Зная его требовательность в подборе кадров, они сомневались, думали, что я была "котом в мешке". Может быть и так, я никогда не уточняла.

И навсегда осталась благодарность человеку, которого знала только по работам о Шолохове и рассказам мужа, но доверяла ему, как давно знакомому, надежному советчику. В последний момент я решилась на отчаянный шаг — оставила семью в Сибири и уехала в Кострому, где срочно потребовался преподаватель в пединституте. Никаких перспектив на квартиру и работу для мужа там не было.

В растерянности, измученная беспокойством о семье (и не напрасно — мой отъезд рикошетом ударил по старшему сыну), я искала утешения у Виктора Васильевича, изливая тоску в письмах и телефонных разговорах. По его совету ездила в Череповец, писала куда-то, но уже понимала, как мало шансов найти работу двум литераторам в одном провинциальном вузе, где штаты кафедр невелики и стабильны. Не представляю, чем бы все кончилось, если бы не Виктор Васильевич. Теперь уже не узнат, а он не рассказывал, как ему удалось найти нам эти два места. Убеждал, выбивал, доказывал?! Но на следующий учебный год в Вологду из Кемерова перебрался муж, а еще через год — я из Костромы!

На кафедре мы “прижились” сразу. И не только потому, что были в своем деле не новичками, но и благодаря спокойной, дружественной атмосфере. Нет, работа с Виктором Васильевичем не была идиллией. Человек требовательный, принципиальный, он бывал и обидчивым, и взрывным. И мы ссорились, в первую очередь я, не отличающаяся сдержанностью, в запальчивости способная на ответную резкость. Но уважение, понимание преобладало. Работа была в удовольствие, она объединяла всех нас, таких разных по манере и стилю занятий, в нее мы вкладывали все лучшее, что в нас было.

Оглядываясь назад, в прошлое, человек обычно склонен забывать трудное и печальное. Вот и мы с мужем вскоре забыли долгий путь в Вологду. Но осталась благодарность судьбе, что она свела нас с человеком, который умел держать слово, помогать не формально, не по должности только, а по внутренней душевной потребности.

Перед ушедшими чувствуешь себя в долгу, нет-нет да и оживает сознание невольной вины, думается о том, что было сделано не так, горько, что уже ничего не поправишь. В такие минуты я нахожу утешение, возвращаясь памятью к последнему вечеру Виктора Васильевича в Вологде. Он позвал нас к себе. Шли с тревогой: человек из одной больницы едет в другую, вряд ли ему нужны гости.

Встреча обрадовала. Виктор Васильевич был бодр, приветлив, никаких разговоров о болезни. Наоборот, он спешил познакомить нас с новыми работами. Целый вечер увлеченно, не экономя силы, читал рассказы о своем детстве. Поражаясь его памятливостью на подробности и детали, мы тоже забыли о болезни. Подумалось тогда, что он стремится уйти от идеологизированного литературоведения, отдохнуть душой, обдумать планы на будущее. Он был прежним — уверенным в себе, энергичным, захваченным работой. Таким он нам и запомнился.

И позднее, когда горькая весть уже пришла, этот вечер утешал меня еще и тем, что позволял думать: Виктор Васильевич позвал нас тогда не случайно. Он тоже забыл размолвки, расхождения во взглядах на какие-то вещи. Для него дороже было то, что нас сблизило, сдружило, что определилось еще в начале семидесятых, когда он, полный сил и замыслов, приглашал на кафедру чем-то приглянувшегося ему специалиста, готовый в широте души принять в придачу и его неведомую жену.

ЗЕМЛЯК, ДРУГ, ОДНОПОЛЧАНИН

Читая последние рассказы Виктора “Под кожушком”, я как бы снова прошел дорогами детства, вспоминая ту Волгу, свою слободу, ее песчаные улицы, бескрайние степные дали и тюльпановый ковер, покрывавший степь весной. Читал и не переставал удивляться тому, что Виктор через столько лет сохранил в памяти подробности детства своего, юношеского становления, сохранил любовь к местам, откуда начал свой путь в жизнь нелегкую. Да, были страшные годы голода, годы самой беспощадной войны, но любовь к местам, где родился, он сохранил до конца. Сохранил и любовь к литературе, заложенную Александром Трофимовичем Шаповаловым, школьным наставником.

Мы жили в Николаевске на Волге. Учились, рыбачили, ходили в ночное, совершали походы — зимой — на лыжах, летом — на лодках: и под парусами, и на веслах, и лымянкой тянули. Нас Волга закаляла, учила мужеству, товариществу.

В декабре 1939 года я поступил в военное училище. Началась война, и я долго ничего не знал о своих школьных товарищах, но был уверен, что они с честью выполняют свой долг — защищают Родину. На фронте ни разу не встретил земляков.

И вот март 1945 года, Восточная Пруссия, 3-й Белорусский фронт. Подъехав к зданию штаба корпуса, я увидел стоящего у входа невысокого офицера. Что-то знакомое показалось мне в его фигуре, и когда он повернулся, я сразу вскрикнул: “Виктор! Гура!” Да, это был он, мой земляк, школьный товарищ.

Мне писали, что он горел в самоходке, был тяжело ранен. Значит, подлечился — и снова на фронт. Надо же, почти через шесть лет мы встретились. И где? На фронте, в Восточной Пруссии! Не смогли мы поговорить о том, что хотелось узнать, и снова расстались, чтобы встретиться в июле 1945 года, но уже на Дальнем

Востоке на границе с Маньчжурией. Нашу армию после взятия Кенигсберга перебросили на 2-й Дальневосточный фронт, а Виктора перевели в нашу дивизию. И сложилось так, что мы вместе с передовым батальоном нашей дивизии 9 августа 1945 года первыми перешли государственную границу с Китаем и вступили в бой с частями японской Квантунской армии. Действовали на Муданьзянском направлении, участвовали в боях за Цзяухэ, Дуньхуа, Гирин.

Здесь мы с Виктором встретили окончательную победу, вместе со всеми радовались и думали: “Прожиты тяжелые годы. Пройдены тысячи километров с боями на Западе и Востоке. Но с какой радостью мы теперь говорим: победа!” Каждый из нас думал и о тех, кто не дожил до этого часа. Мы как бы докладывали им о том, что дело, за которое они отдали жизнь, восторжествовало. А я вспомнил и отца, который воевал в Маньчжурии еще в 1904 году.

Вскоре Виктор уехал продолжать учебу в Саратов, а я продолжал службу в армии. Знал о том, что он работает в Вологде, женился, имеет детей. В 1959 году я получил от него книгу Вл. Гиляровского “Мои скитания”. Я читал написанное им предисловие и радовался за земляка, удивлялся его умению просто и емко писать о людях. Затем последовали его новые работы с неизменно дружескими надписями.

В 1968 году он пригласил меня на защиту им докторской диссертации. Мне повезло — в это время я как раз приехал в командировку в Москву. На защите я увидел другого Виктора — ученого, уверенного в себе, убежденного в правильности своих выводов. Он с успехом защищился. “Теперь у нас свой доктор, свой ученый”, — подумал я.

В 1974 году меня перевели в Москву, и мы стали встречаться очень часто. Вместе ездили на родину, обсуждали найденные им материалы по истории Николаевска и Заволжья в целом. Последний раз это было в 1991 году. Он вернулся из Николаевска, поделился своими впечатлениями, показал новые материалы. Верилось,

что теперь он закончит свою работу, замысел которой вынашивал давно.

Потом в его незаконченном рассказе “За окоем” я прочитал: “Солнце огромным испепеляющим кругом выкатилось на небо и всеторжествующе взбиралось выше и выше, подавляя мощью своей и красотой окружающую степь. Это было не солнце, а какое-то древнее божество...” А просыпающаяся степь!? “Росой, как крупной слезой, пригнуло, прижало к земле придорожное разнотравье.., какие-то веселые пестрые цветочки — мелкие беленькие искорки, красные и синие зевы степного горошка, хватающегося за что попало — за совсем зеленую полынь, за чернобыл, даже за старую высокую колючку, чудом не угнанную ветром. Вся степь, насколько видел глаз, бархатно зеленела до самого окоема”. И мне захотелось увидеть восход солнца в степи.

Это была наша последняя встреча в Москве.

Никогда не мог подумать, что на земле белорусской, в освобождении которой от немецко-фашистских захватчиков мы с Виктором участвовали в 1944 году, через 47 лет буду провожать его в последний путь.

Прощаясь с Виктором на кладбище, подумал: “На Волге родился, на Вологодчине прожил большую часть жизни, а белорусская земля, как в знак признательности за ратный его подвиг, приняла его на вечный покой”.

Когда-то Виктор писал мне: “Не забывай, Сергей, наши родные места, нашу Волгу, нашу маленькую, но лучшую на свете слободу...”

Не забуду, Виктор!

СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Весной 1950 года я заканчивал Ленинградский университет, находясь поистине в плачевном состоянии. Моего любимого учителя Григория Александровича Гуковского публично осуждали, прорабатывали, потом увезли в тюрьму, где он скоро умер, не дожив до пятидесяти лет. Общее собрание студентов постановило было исключить меня из комсомола "за аполитичность, недисциплинированность, барски-пренебрежительное отношение к коллективу". Когда дело дошло до утверждения этой кары в райкоме ВЛКСМ, меру наказания там снизили до строгого выговора с предупреждением об исключении: ни в каких заговорах я не участвовал, только говорил, что в голову идет; благодаря отмеченной "аполитичности" не замахивался на вождей и их постановления, с ними и так все было ясно.

Приведенные факты, вероятно, уже сейчас для многих нуждаются в специальных исторических комментариях. И слава Богу.

В те времена студенты по окончании вуза обязательно получали направление на работу (среди них немало оказывалось мнимых, липовых, но обряд соблюдался строго). Меня своевременно вызвали в соответствующую комиссию и предложили выбрать — учителем в Марийскую АССР или Вологодскую область. Я схватился за второй вариант. Ведь в Вологде уже жили и работали мои друзья по Саратовскому университету Виктор и Ирина Гура. Несмотря на жутковатые времена, я знал: Виктор защитит, поможет, направит по наиболее разумному пути. Но член комиссии, впоследствии профессор по советской литературе Гладковская, кинув на меня холодный взор, произнесла: "Таким мы права выбора не даем. В Марийскую!"

Начинаю свой рассказ с этого жизненного эпизода вовсе не потому, что не знаю предмета более интересного и достойного, чем я сам. Нет, нет. Просто эти подробности, на мой взгляд, выразительней, чем простая справка, говорят о том, что мы с Виктором,

Витей были друзьями больше сорока пяти лет. В самое тяжкое время не возникало сомнения в его душевной здравости, в его человеческой надежности. Людям, прожившим нашу жизнь, легко понять, что важней этих качеств ничего не было и быть не могло.

Ну а в Саратове я на год позже Ирины и Виктора учился в университете, окончил три курса и уехал вслед за Гуковским в Ленинград.

Помню первое появление Виктора. Только что кончилась война. Он был из поколения победителей, после фронта. Ходил в гимнастерке, перепоясанной большим ремнем, в сапогах. Издалека видна была его голова с ярко-соломенными волосами.

Жизнь должна была ему улыбаться. Легко здесь закружиться голове. Вероятно, она и кружилась слегка. Гура твердо намеревался стать писателем (в одной из книг саратовского литературного альманаха можно найти главы его повести или романа). Соответственно себя ощущал. В университете его по праву принимали как героя своего времени. Но вот душевное здоровье и нравственная основательность не покинули его и тогда. Несмотря на все обольщения и надежды.

Представить Виктора без Ирины, ставшей ему женой в годы университетского ученья, уже невозможно. Теперь кажется: они всегда были вместе. Ирина, из ленинградских интеллигентских кругов, смолоду наделенная опять-таки душевной мудростью, сыграла, думаю, огромную роль в самоопределении Виктора. А он, молодец, сразу понял ее значение в своей судьбе, всяческую необходимость в ней. Они пережили смерть первого сына, совсем крошечного. Да мало ли что еще было пережито. Но, пройдя все трудности, их семейный союз только укреплялся и стал истинным примером, таким, увы, нечастым в нашей трудной, дерганой жизни. Дети, Саша и Наташа, вырастали замечательные, добрые, трудовые, не ломливые.

Раз сложилась семья, получился и настоящий дом. Многие помнят с глубокой благодарностью этот дом, где так хорошо, сердечно, хлебосольно встречали местных, вологодских, и нас, приезжих.

Те, кто знает и Виктора, и меня — людей, решительно ни в чем друг на друга не похожих, может посчитать удивительной прочность нашей дружбы. Я отношу это прежде всего за счет Виктора с Ириной. Они были терпимы, терпеливы, еще в Саратове добры по отношению к чрезвычайно сложному юноше. Я часто забегал к ним в комнату студенческого общежития и привыкал ценить несходное с моим. Кое-что все же им во мне явно не нравилось и — справедливо. В многотиражке — газете Саратовского университета — среди других шаржей однажды появился и мой портрет. Не помню всей подписи к нему, но там было такое: "...и думает, что он Гуковский, но он — Евгений Калмановский. Ему желаем в Новый год: пусть поскромней себя ведет!" По зрелому размышлению я решил, что сии строки — произведение Виктора. Он в ответ на мой вопрос об авторстве только посмеивался, а я почему-то не обиделся. Так вот и жили. В последние годы Виктор резко не любил развившейся моей — скажем так — лексической разнузданности.

Не хочу вносить сусальность в свой рассказ, да и незачем особенно вспоминать кратковременно набегавшие тени в наших отношениях. Странно ли, что за столько лет они изредка возникали? Но прекрасно, что быстро развеивались, не оставляя болезненного следа в памяти.

Ну а если вернуться к разговору о скромности, то надо признать, что и Виктор скромником не казался. При очередной встрече он имел привычку перечислять свои достижения — куда его зовут, в какие ученые советы ввели, в какие редакции, что он опубликовал, что готовит и так далее.

Но я не считал его человеком, очень защищенным уверенным в себе. Эти доклады о победах и подъемах не заслоняли напрочь его тревог и огорчений. Мне он говорил о них только мельком (возможно, что так было со всеми, общий закон). Не сосредоточивался на них, создавал в основном впечатление прочности и крепости.

Однако в Викторе жила не показная, но истинно чуткая душевность. Стало быть, и настоящей защищенности взяться было неоткуда.

В один из тяжелых периодов моей жизни, когда очередной раз все в ней как-то разваливалось, вологодские друзья позвали меня пожить у них в загородном доме. Виктор встретил в аэропорту на машине и повез в этот дом, который очень любил и старательно обихаживал. Я старался ему помогать. Вместе расчистили один угол земли. Его засадили цветами. Виктор в письмах всегда поминал этот “евгешин газон”, так названный в честь моих скромных усилий.

Под Новый год (а ведь это был в наше время единственный законный общий праздник, так сказать, внеидеологический) мы неизменно обменивались приветствиями по почте. Для Виктора и Ирины это было необходимое душе правило: провести по такому поводу перекличку друзей. Очень ценю в людях привязанность к неофициальным ритуалам, желание вспомнить и обогреть, хотя бы словом. Жизненный опыт показывает, что такого склада людей встречается не так уж много, а, точней сказать, просто-напросто мало.

Вероятно, Виктор Васильевич прятал в душе некоторую обиду из-за того, что не стал работать в Москве или Ленинграде. Он был избран по конкурсу в Московский университет, но получить взамен удобной, просторной вологодской квартиры более или менее равнозначную в столице было невозможно. Друзья оставались в Вологде, которую крепко полюбили. Но чувство известной оборванности карьеры, вероятно, повторяю, у Виктора было.

Сколько демагогов, пустых болтунов заполняли собой кафедры и секторы советской литературы там и сям!

Гура же был прежде всего настоящий работник. Думаю, ему больше подошло бы как раз не постоянное чтение лекций (ни разу в жизни, впрочем, не привелось слушать его публичные речи), а

упорный и серьезный труд в академическом институте. Еще в Саратове студентом Виктор принял всей душой идеал профессиональной основательности, больше всего, определенной всего внушенный Юлианом Григорьевичем Оксманом, появившимся тогда в СГУ после сталинских лагерей. Виктор с подлинной верой осваивал эту школу точности, которая ставит на первое место факт, документ, наблюдение, а не мнимоученое словолейство. Все это, очевидно, отвечало внутреннему представлению Виктора о профессиональном труде.

Гура всегда работал жадно и тщательно.

Ввиду удаленности от этих сфер не берусь рассуждать о его исследованиях по творчеству М. А. Шолохова. Но ведь и мне видно, сколько в них реальной материи науки, разысканий и находений. Вот вспомнилось: "Тихий Дон" в свое время я прочел только по долгому настоянию Виктора и был ему за то благодарен; на чтении "Поднятой целины", насколько помнится, он не настаивал никогда.

Более близкие мне по предмету статьи, скажем, про Василия Ивановича Красова или Павла Владимировича Засодимского, неизменно основательны, вводят новые материалы. Они — итог большого весомого труда.

Мне кажется, в первую очередь именно благодаря Виктору Васильевичу Вологда стала одним из крупнейших российских литературоведческих центров с представительными конференциями, солидными изданиями. А дом Виктора и Ирины оказался центром этого общего центра. И остается таким в памяти многих и многих.

КАК БУДТО ВЧЕРА...

В шестидесятые годы наша семья жила в одном доме с Гурами. Не помню, как мы познакомились, может, через детей, которые играли в одном дворе, может, на выставках, которые литераторы не обходили стороной.

Хорошо помню, что как-то Виктор Васильевич попросил меня “пошевелить” над их сыном Сашей, проявлявшим тогда явную склонность к рисованию. Он показал мне Сашины рисунки — я удивилась: “Да он у вас художник! Его учить — только портить. Единственное, что я прошу — подарите мне его акварель с горящей керосиновой лампой”... Отец с удивлением отдал мне работу сына, казавшуюся ему несовершенной. А несколько лет спустя я просила разрешения у подросшего уже Саши “прочитировать” его лампу в одной из своих работ, так она мне поглянулась!

Если в сыне проглядывали способности художника, то в отце был талант собирателя. Книги, марки, экслибрисы, монеты, картины... Постепенно в доме образовалась мини-галерея художников-вологжан. И книги по искусству в его кабинете занимали самое почетное место.

Думается, что он всегда ратовал за более творческое общение творческих людей. Помню встречу вологодских писателей и художников в здании редакции на Чернышевской. Ее инициатором был Виктор Васильевич. Мы сидели за длинными столами: с одной стороны мы, с другой — они. И как-то пронзительно всматривались друг в друга.

Все молодые-молодые!..

У нас в Союзе художников в те годы устраивались иногда “капустники”. Придумать мы все старались сами. Но дать некоторым номерам хорошее литературное “одеяние” казалось необходимым. И вот за этим шли к Гуре.

Прошедшая жизнь вспоминается не монотонно освещенным пространством. Что-то пропадает совсем, что-то навсегда запечателось и видится, как случившееся вчера. А бывают в жизни мгновения, которые запоминаются, как свет бенгальских огней.

Так я вспоминаю предкапустные вечера у Гуры. Столько было неожиданных находок, выдумок, ситуаций, столько было теперь почти забытого радостного смеха, что все это при воспоминании вспыхивает с новой силой, как фейерверк!

Был у нас придуман критик-искусствовед по фамилии, придуманной тоже В. В. — “Кузькина-Матькин”. Он должен был листать огромную книгу отзывов и одновременно давать свои комментарии: “Хрусталева... Она лигик! Но, голубчик Хрусталева! В XIX веке тоже были бегезки... Но какие это были бегезки?! Вы нам покажите наши, советские бегезки, наш годной советский пенек! Тутунджан? Но это же гоый натугализм! (о работе “В душевой”). Это же ни в какие вогота не лезет!”

Долго потом при встречах В. В. повторял: “Но голубчик Хрусталева!..”

В те “застойные годы” некоторое время просуществовал в Вологде клуб ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты). Все по очереди проводили свои вечера в филармонии. Когда настала очередь художников, мы опять собирались, обдумывали все, в том числе и у Гуры... “Члены профсоюза РАБИС, работайте над обменом своих веществ!” — призывал лозунг на главной лестнице филармонии. “Не плюй на сцену — ты не в театре!” — гласил призыв в зале... И все — не без участия В. В.

Одним из удачных наших номеров была “защита проекта строительства общественного туалета в г. Вологде”. Вся несуразица, бюрократизм и занудство, процветавшие тогда, отразились в хохмачком сценарии этого номера. Не забыть перлов “идейных вставок”, придуманных тоже В. В. По ходу дела вставала в зале наша уважаемая старейшая художница и спрашивала: “Скажите, киоск союз-печати и сувениров предусмотрен в вашем проекте?” Или

поднималась в первом ряду женщина на сносях с вопросом, будет ли комната матери и ребенка в этом здании...

Да мало ли всего было тогда придумано, сочинено, сложено и сложено в стройную систему, дающую сатирический взгляд на жизнь, взгляд, защищающий что-то главное от пошлого и набившего оско-мину. За этим хохотом, рокотом Виктора Василича чувствовалась детская жажда человека сопротивляться неудобной, сковывающей одежде. И постоянно рядом — искристый, заразительный смех Ирины Викторовны!..

Когда мы переехали за реку, встречались уже реже. Иногда — на выставках. Гура заходил и в дом художников — заказать ли раму, пообщаться ли с кем-нибудь из братии. Однажды его фигура появилась и в дверях моей мастерской. А я и всегда-то съеживаюсь от неожиданных вторжений, а тут совсем не была готова. Встала на пороге, как стена, и не пускаю. “До лучших времен”, — говорю...

Простите мне, Виктор Васильевич! И спасибо Вам за все доб-рое!

ОН БЫЛ БОЛЬШИМ РЕБЕНКОМ

Он уезжал из Вологды в Минск. Тогда это еще не было поездкой за границу. Тем более, что в Минске жили его дочь, зять, внуки. Он ехал на операцию, но не признавался, говорил: "На обследование".

Получилось так, что последним из друзей-писателей в Вологде видел его именно я. Он шутил, смеялся, рассказывал о разных курьезах, а потом вдруг посерезнел и спросил:

— Хочешь послушать мой последний рассказ? Я его только что закончил. Называется "К красной Маше на черной свинье".

Мне было известно, что профессор-литературовед, написавший гору ученых статей и книг, на старости лет вдруг начал потаенно, как бы стесняясь, сочинять рассказы. И не просто рассказы, а истории, связанные с его детством. Кое-что из этого цикла я уже слышал и принял предложение с интересом: хотелось сравнить новый рассказ с ранее написанными.

Виктор Васильевич Гура начал читать. Это было удивительное чтение. Он выговаривал фразы увлеченно, торопливо, словно боялся, что не успеет дочитать. А в глазах таилась такая нежность, словно он и впрямь сквозь дымку за осенним окном увидел картины своего далекого бытия, когда бегал босоногим по волжской слободе. И... влюбился. Влюбился впервые, до слез, в девочку Машу, дочку портнихи с соседней улицы. А поскольку на свидание с ней он обещал приехать обязательно верхом, то за неимением лошади оседлал черную соседскую свинью.

Слушая забавную и трогательную историю, я поймал себя на том, что и сам вспомнил свое детство. "Господи! — думал я. — Да ведь в каждом из нас, как в матрешках, живет несколько нас, несколько личностей разных возрастов. И глубже всех спрятана самая маленькая куколка — наша детская душа, которую все мы наивно

стараемся одеть во взрослые, “сурьезные” одежки, нацепляя на нее пиджаки, галстуки и прочие атрибуты, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не подумал о нас “несолидно”.

В Викторе Васильевиче его детскость была обнажена больше, чем в других братьях-писателях, которых я знал. Он выражал свои эмоции всегда бурно, мог обидеться, по-ребячнико нахмурив губы, мог вроде бы насмерть разругаться с собеседником, хлопнуть по-мальчишески дверью, а через день уже забывал это и по-дружески подсмеивался и над обидевшимся коллегой, и над самим собой. И радовался он безудержно, будь это новая изданная книга или даже пустяковый успех, например, шахматный или карточный выигрыш.

Через год после его смерти на поминках многие из друзей Виктора Васильевича говорили за грустным столом как раз о том, что Гура был большим ребенком со всеми вытекающими отсюда результатами.

При жизни у него были не только друзья, были и неприятели. Не все ведь любят детей, тем более больших детей. Да и странно было бы, если бы кто-то из нас мог нравиться всем на свете. Так не бывает. Но вот что характерно. Один из его давних и, казалось, непримиримых “оппонентов”, узнав о внезапной смерти Гуры, помрачнел, долго сидел молча, как бы взвешивая все свои взаимоотношения с покойным, а потом сказал жене: “Достань, что нужно: хочу помянуть”.

Что бы там ни говорили, а Виктор Васильевич всю жизнь вез два вела. Воз писательский и воз научно-педагогический. И оба вела двигались его усилиями аккуратно и достойно. “Он проявил, — вспоминает писатель Иван Дмитриевич Полуянов, — незаурядную энергию по собиранию молодых литературных сил в Вологде в ту далекую пору, когда только создавалась здесь писательская организация. Можно смело сказать, что тогда он шел в одной упряжке с Сергеем Викуловым и Александром Яшиным, с другими зачинателями “вологодской школы”.

Немало сделано Виктором Васильевичем для прояснения многих историко-литературных страниц из писательского прошлого нашего края. Перелистайте тома, вышедшие в книжной серии "Русский Север", издававшейся в Архангельске. Вы обязательно найдете там сопроводительные материалы В. Гуры. Это и вступительные статьи, и примечания. А кропотливый составительский труд! Можно без преувеличения сказать, что такая фигура, как Василий Красов, могла бы вообще остаться для большинства вологжан неизвестной, не предприми Виктор Васильевич скрупулезного исследования творчества этого незаурядного поэта, современника Лермонтова и Белинского.

Вершиной в литературоведческом труде Гуры явилось изучение и описание творческого пути Шолохова и прежде всего — истории "Тихого Дона". Книга "Как создавался "Тихий Дон"" не случайно выдержала два издания.

К месту также вспомнить о том, что добная половина писателей-вологжан выросла под внимательным взглядом Виктора Васильевича. Некоторые были прямыми его учениками по Вологодскому пединституту. Поэт Александр Александрович Романов с доброй улыбкой вспоминает: "Мне видится Гура совсем молодым, недавно прибывшим с фронта. Он тогда читал нам лекции по советской литературе. Ростом небольшой, худенький, из-за кафедры не видно. Но голос, голос! До сих пор стоит в ушах. Сколько в этом басе было уверенности, которая потом вполне оправдалась!"

Да, наверное, это помнят многие. Ученики профессора Гуры ныне живут и работают на громадной территории как в России, так и за рубежом.

УХА В ЧАЙНИКЕ

Возрастом погодки, было у нас в судьбе, вопреки разительным несходствам, существенно общее: оба ушли на войну семнадцатилетними, вернулись живы, потом наверстывали упущенное, каждый по-своему. Оба знали, что за благодать — торчать перед врачами ВГЭК по продлению инвалидности, на студенческой скамье искать заработки, и в аудиториях так редко мелькнет донашиваемый фронтовой китель, застиранная солдатская гимнастерка. Мало нас уцелело, мало.

Думается, я неизменно относился к Виктору Васильевичу с должным пietетом — как рядовой пехоты к офицеру артиллерии. Когда мы познакомились ближе, своим характером, напористостью, взрывчатой энергией, мгновенной эмоциональной реакцией на происходящее он часто напоминал то самое орудие, на каком мерялись им вначале дороги войны. Броня, гусеницы, снаряд, способный сокрушить железобетон и... И уязвимость! Не танк, а в бой газуй в танковых порядках!

Имя В. В. Гуры мне стало известно в году 1953-м: студент Архангельского пединститута, я работал над рефератом по "Тихому Дону" и обращался к его публикациям, видимо, времен учебы в Саратовском университете.

Важная точка пересечения взаимных интересов. Что бы ни вешали сегодня, Михаил Шолохов — гениальный художник, его Григорий Мелехов — образ мирового звучания — воплотил трагедийные черты, типичные для эпохи социальных бурь и потрясений. Возникли только условия, вырастет Григорий Мелехов гигантской фигурой, мечущейся с оружием в руках между непримиримыми лагерями в поисках народного, праведного пути из кровавых конфликтов...

Лишне повторять известное: Гура, профессор, заслуженный деятель науки, собственно всю жизнь посвятил изучению наследия

М. А. Шолохова. Из-под пера вышло множество статей, книг, но, если так позволено выразиться, донскому казаку Виктор Васильевич остался верен до последнего дня.

Спору нет, творческая личность ярче, полнее раскрывается в том, что ею создано. Добавишь-то какие-то детали, штрихи к портрету. Впрочем, мелочи тоже интересны, высвечивают грани характера, поведения, обычно остающиеся в тени.

Виктор Васильевич и притягивал — убедишься, ознакомившись с его обширной перепиской; и отталкивал — послушать, наберется гора противоречивых отзывов. Был неравнодушен, и к нему не было равнодушных. Беда не в том, что в общении допускал перехлесты. В том горе, что высказывался без околичностей, прямо в глаза, и потом страдал и казнился от собственных же оценок. Бесполезно было ему втолковывать: ну что вы, ей-Богу, так близко принимаете к сердцу, право, это такая ерунда, — не успокоится, пока не перегорит.

В его непосредственности сквозила порою и ребячливость.

На даче в деревушке Дулепово профессор добрый день убил, укладывая дрова. Домашним следовало при виде оного произведения искусства ахать и восхищаться. Картину испортил несмышленыш, внук Тимоша: взобрался на поленницу — трах-тара-рах, раскатились дровишки по лужку.

Охи бабушки, львиный рык деда — проказника и след простыл.

В ближний лес — “под березы” — сбегали внучата, белых грибов набрали. Профессор на знатный успех обожаемых им человечков — ноль внимания, слоняется, мрачнее тучи:

— Чужого труда не уважают!

Помнится, когда бы я ни приходил к нему, заставал Виктора Васильевича за письменным столом. Работоспособность его была поразительная. После лекций, разнообразных нагрузок (одно областное общество книголюбов сколько сил отнимало) доставало ему сил просиживать допоздна за рукописями, готовиться к ученому

совету министерства, рецензировать диссертации коллег и прочее, прочее.

Представлять, однако, Гуру, что называется, вечно застегнутым на все пуговицы — досадное заблуждение. Давала себя знать кипучая, увлекающаяся натура.

Бывало, нет-нет и к нам на пятом этаже условный звонок:

— Петя дома?

— У нас все дома, — припустишь в голос испуга. — Кто там?

— Просто Филя, — хохотнет знакомый бас.

Вздор, мол, что мы дурачились в подкидного: помилуйте, это не мы, это Филя — альтруист, мастер стратегических ударов, это Петя — по интеллекту почти что гуманоид и оперативное дарование. Напрасны пополновения им сопротивляться, ну-ка живее за стол!

Зрелище не для слабонервных, когда Филя “формирует костяк”, у Пети в штабе расставляют косяки: крупный талант, в двери не пролезает.

Вдруг трезвонит телефон. Ирина Викторовна!

— Витя, колонку истопила.

— Банный день! — шепотом поясняет мой гость и громче, клятвенно в трубку: — Ирочка, последняя партия, ты меня знаешь.

Одергимые часов не наблюдают. О стол шлепают карты, развертывается сражение — тут окружают, там в плен берут...

Вот те раз, опять телефон. Конечно, терпеливая Ирина Викторовна:

— Витя, ванна остыла, я ложусь спать.

— Ирочка, целую. Я сейчас. Ты мне веришь?

В комнате дым коромыслом, пепельница полна окурков. Чему удивляться, если в подначках, шутках, розыгрышах изрядно затягивались встречи? Случалось, рассвет заставал нас на прежних местах.

— Хорошо отдохнули, Иван Дмитриевич?

— Отлично, Виктор Васильевич, я со стула валюсь.

Дело прошлое, Ирина Викторовна, похоже, нам миролила. Жили мы тогда в близком соседстве. Ну а “задержится” глава семейства

в институте и полночью тащится через спящий город с Кешей, шотландской овчаркой на поводке, чтобы изыматъ его, зангравшегося, из-за шахматного столика, — разве лучше?

Не секрет, Виктор Васильевич тосковал по родным краям — по Волге, бахчам и Ерику, по ветрам степного раздолья и щедрому солнцу. Мне доводилось бывать примерно в тех же местах. Волга, ладно, напоминает низовья Сухоны, а земля, выжженная зноем, а ширь ее, зыбкие марева, где у горизонта цепочка бредущих верблюдов смотрится обманчивым миражом, и белесое небо оживляют единственно парящие орлы? Если мне, лесному северянину, не пожилось бы там, то что испытывает южанин в наших сырых, промозглых, весной и осенью тонущих в слякоти широтах?

Наконец, страна детства у всех своя, нет ее святее и ближе. Любовь, нежность к ней, единственной, Гура перенес на страницы воспоминаний.

Навещал меня Виктор Васильевич в харовской деревне: сто верст — не околица! По лесу с бельевой корзиной под грибы, вдоль Кубены-реки с песнями, — каково, а? Выбирались и раньше за город, тоже по грибы, на рыбалку или дать пробежку застоявшемуся в гараже “Москвичу”.

Не знаю отчего, все чаще вспоминается поездка за Грязовец. Были пыльные проселки, деревни в зелени, избы сплошь в кружевах резьбы. Была речка, у берегов устланная белыми лилиями, стук вальков женщин, с камней полоскавших белье, и много-много солнца.

— Как у нас! — восторгался теплынью Виктор Васильевич, имея в виду, разумеется, угодья под слободой Николаевской.

Как огоревали на уху, помолчу. Но женщины бросили полоскать, удивляясь шуму и гаму всего лишь от двух горожан. Азарт, горячность, — их, что, дома на полочке оставишь?

Занялся костер. В чем, однако, готовить? Отыскался в багажнике только чайник.

— А давайте по-походному, по-солдатски!

Признаться, Виктор Васильевич поморщился. Видимо, своему командиру солдаты обед подавали в другой посуде. Кстати, с экипажем своей тяжелой самоходки, которым командовал до ранения, он переписывался, что о чем-то говорит.

Как бы то ни было, удалась уха. Правда, лаврового листа сыпали — шибко отдавало распаренным банным веником.

Ничего, ели да прихваливали:

— Вещь, Виктор Васильевич, если кто с понятием.

— Настоящая рыбацкая! Отвезем Валентине Васильевне с Оленькой!

Значит, моей жене и дочке с реки Обноры подарок.

Помнится, до сих пор помнится эмалированный чайник в цветочках, закопченный дымом костра. Пропустить о нем — невелика потеря. Тем не менее, — потеря, не так ли?

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ ВОСПОМИНАНИЙ

Бабичева Юлия Викторовна — профессор кафедры литературы ВГПУ, доктор филологических наук (Вологда).

Беседина Тамара Алексеевна — кандидат филологических наук, доцент (Санкт-Петербург).

Гура Ирина Викторовна — кандидат филологических наук, доцент (Вологда).

Калмановский Евгений Соломонович — доктор искусствоведения, профессор ЛГИТМиК (Санкт-Петербург).

Куприяновский Павел Вячеславович — заслуженный деятель науки России, доктор филологических наук, профессор Ивановского университета (Иваново).

Леднев Юрий Макарович — поэт, прозаик, член Союза писателей (Вологда).

Осъмак Сергей Иосифович — генерал-майор (Москва).

Полуянов Иван Дмитриевич — прозаик, член Союза писателей (Вологда).

Пудожгорский Владимир Константинович — кандидат филологических наук, доцент (Вологда).

Романов Александр Александрович — поэт, член Союза писателей (Вологда).

Саловей Николай Яковлевич — кандидат филологических наук, доцент (Москва).

Судаков Гурий Васильевич — доктор филологических наук, профессор (Вологда).

Суконцев Александр Алексеевич — журналист (Москва).

Тутунджан Джанна Таджатовна — художник (Вологда).

Шайтанов Олег Владимирович — кандидат филологических наук, профессор, 30 лет руководивший филологическим факультетом ВГПУ.

Шилова Клавдия Алексеевна — кандидат филологических наук, доцент (Вологда).

ПИСЬМА В ВОЛОГДУ В. В. ГУРЕ

В архиве В. В. Гуры сохранилось множество писем от различных корреспондентов периода 1949—1991 годов. Ни одно письмо, открытка, даже небольшая записка им не уничтожались. Много лет работая в архивах, он хорошо знал цену подобных материалов и содержал свой архив в порядке. В нем хранятся письма известных писателей, крупных литературоведов, бывших студентов, аспирантов, участников семинаров, проводившихся Союзом писателей, молодых критиков, друзей. Выбрать для печати небольшую часть этого эпистолярного богатства было непросто, поэтому вполне возможен элемент случайности. Пересмотреть все письма в короткий срок не представлялось возможным. Но хотелось привести, хотя бы в сокращении, письма, так или иначе связанные с Вологдой, с личной жизнью и творческой деятельностью Виктора Васильевича, письма неординарные, остроумные, способные заинтересовать читателя.

Публикуются в хронологическом порядке.

ПИСЬМА

12.9.49 г.

Милый Виктор Васильевич,

радуюсь Вашему благополучному устройству на работе в Вологде. Понимаю Ваши тревоги в связи с чтением такого большого числа курсов без достаточного времени для их подготовки. Думается мне, что Ира в лучшем положении — читать всеобщую литературу гораздо легче, чем русскую, а тем более советского периода. Вы напрасно боитесь опереться на "Теорию литературы" Тимофеева. Это самый "обтекаемый" автор, никакая критика его не одолеет...

...Ваша библиография пока лежит без движения. Я видел у Ал. Павл. Вашу рукопись с сопроводительной бумагой от ректора, в кот. предлагается вновь рассмотреть рукопись Вашу в Ред. коллегии. Видимо, Петр Вас. не осведомлен о том, что она была уже у двух рецензентов и одобрена министерством. Ал. Павл. поручил рассмотрение рукописи Черникову, но так как последний отказывается приступить к работе в университете до получения квартиры, то на скорое продвижение справочника нет оснований надеяться...

...Должен обратить Ваше внимание на то, что необходимо включить в библиографию данные о новых главах "Они сражались за родину" в "Правде", а в краткую биографич. канву включить даты выступлений Шолохова на двух конгрессах борцов за мир. Выступление Шолохова в Москве следовало бы отметить и в библиографии его высказываний. Ведь в лучшем случае Ваша книжка выйдет в свет в 1950 г. Читателю нет дела до того, что она составлена в 1948 г.

...Позавчера мне пришлось говорить о Вас на встрече с первокурсниками, отмечая лучшие студенческие научные работы, "удостоенные наград". Вашу премию Вам пошлет Галя

Полищук (новое издание "Записок охотника") О пропагандации "Ученых записок" в Вологде Вам надо будет, конечно, беспокоиться самому, но приступайте к этому только укрепившись в институте, а не сейчас.

Всего доброго! Пишите!

Ваш Ю. Оксман.

* * *

12 июня 1950 г.

Многоуважаемый Виктор Васильевич!

Благодарю Вас за присылку Вашей книги. Мой справочник отошлю Вам, как только вернусь из отпуска...

...Моя книга, к сожалению, была очень "урезана" самими издателями, которые решили, что, публикуя критику о Шолохове, они могут опасаться "как бы чего не вышло". Собрano материала у меня несколько больше, чем у Вас, что вполне естественно в условиях Ленинграда. Да и (как Вы знаете, оказывается) я принадлежу к ученикам С. Д. Балухатого, требующего всегда внимательного и бережного отношения к библиографируемым лицам.

Вы оказались счастливее меня. Шолохов на мое письмо мне не ответил. Лежнев говорит, что я повторила ошибку многих печатных материалов: Шолохов не был комсомольцем, а сразу вступил в ряды ВКП(б). Я запрашивала в свое время об этом М. А., но не получила ответа.

Ваша работа очень ценна как первый большой свод литературы. Но так как это первая большая библиографическая работа Ваша, она обладает недостатками. Вы не все видели *de visu*. Почему Вы отказались от аннотации? Это несколько обеднило Вашу работу. Мне кажется, что Вы напрасно дели-

те литературу на газетную и журнальную. Это удобно для таких больших сводов, как "Критика о Горьком". В таких же справочниках это затрудняет поиски материалов и дробит внимание читателя. В наше время такое деление очень условно, т. к. газетная статья в сущности не отличается от статей в тонком журнале.

В начале работы Вы сделали ошибку, повторив сведения из книги Абрамкина и Лурье. Первый рассказ Шолохова — "Родинка" (1924), "Жеребенок" же опубликован в 1926 г...

...Привет. Еще раз спасибо за Вашу книгу.

К. Муратова.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

...Приезжает к нам на днях И. Андроников. Думаем его пригласить на заседание НСО — доложить о лермонтовских разысканиях.

Переучиваем студентов в лингвистике. После статей И. В. Сталина удивительно как много нашлось у нас лингвистов, которые теперь припоминают, как они "критиковали" Марра...

...На факультете жизнь кипит. Много интересных планов, замыслов. Хороший народ студенты — живой, открытый, пытливый и умный.

Я доволен новым пополнением — талантливые пареньки и девушки, уже "громят" на собраниях старичков, самодеятельствуют, пишут стихи, драмы, остроумно боксируют... и бранят преподавателей...

Крепко жму руку

Ваш Е. Покусаев.

2.10.50 (по почтовому штемпелю).

Уважаемый Виктор Васильевич,
спешу ответить на заданные Вами вопросы.

Неверно, что материалом для "Соти" послужил вологодский материал. Тема романа взята мною из наблюдений (нескольких) советских строек того времени (Сясь, Балахна и т. д.).

Название романа — река Соть, небольшая речка в Ярославской области, на родине моей матери.

В Вологодской области я был пять раз, в прошлом году, на ст. Вохтога, и прожил там около полутора недель.

Сердечный привет.

Леонид Леонов.

25.2.51.

* * *

Москва, 20 января 1954 г.

Уважаемый Виктор Васильевич,
спасибо сердечное за книжку.

Напишите мне, какой из сборников "Войны" у Вас есть, — я постараюсь достать те, которых Вам не хватает, и пошлю Вам.

Я разделяю Вашу точку зрения на собрание сочинений. Но, к сожалению, право отбора, о котором Вы пишете, все еще принадлежит не читателю и не писателю, а редактору.

От души желаю всего доброго.

С уважением

И. Эренбург.

* * *

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич!

...Прежде всего, статья Ваша в напечатанном виде производит очень солидное впечатление. Очень хорошо также на-

звание — "Литература и библиография". Ведь над этим (т. е. над необходимостью связывать библиографию с литературой) я в своих печатных выступлениях борюсь уже десятки лет. Кажется, последние две книги и рецензии на них сыграли известную роль в продвижении библиографических работ в самую толщу литературной жизни. Мне передавали, что библиографией заинтересовались даже писатели, люди наиболее в данном отношении консервативные и смотрящие на всякого рода литературоведческую работу свысока, как на нечто "нетворческое".

Мнение библиографов и библиотечных работников о Вашей статье — только положительное. В издательстве (а это самое главное) тоже отнеслись к ней хорошо. Очень рад, что моя работа отмечена большой статьей. Радуюсь и за Вас, что Вам удалось напечататься в самом распространенном и читаемом "толстом" журнале. Это далеко не всегда удается и самим москвичам...

...Если будет что-либо интересное в области литературоведения и библиографии — сообщу Вам. Сейчас заканчиваю свою работу и через неделю сдаю ее в издательство.

Сердечный привет.

Ваш Н. Мацуев.

8 апреля 1954.

* * *

Под Москвой,
10.VI.1954

Уважаемый товарищ Гура,
давно хотел поблагодарить Вас за присланную Вами работу Вашу о Шолохове, но все не удавалось выбрать минуту для письма. Делаю это с запозданием и очень кратко: спасибо.

Надеюсь, Вы довольны Вологдой, своими занятиями в институте и не слишком тоскуете о Саратове.

Сердечно приветствую Вас и желаю Вам всего хорошего.

Уважающий Вас

Конст. Федин.

25.9.54.

* * *

Милейший Гура!

...В музей, в архив музея, я перед поездкой из Архангельска в Ленинград послал несколько папок с бумагами. Посмотрите, там, кажется, Ольхонские, Тарасовские и Тоцковские есть письма; все эти трое усопши; пользуйтесь. Да желательно бы знать, сохраняются ли эти бумаги.

Имеет ли обл. библиотека рукописный отдел? Что там чье у них есть? Ведь много занятного у нас, грешных, летит в печку и помойку. Черткните мне о сем...

“К северу от Вологды” выйдет дней через десять. Есть сигнал. Пошли тоже. Дробите.

Эх, знали бы Вы, какое рукописное старье допетровское вывез я из архангельских деревень нынче! Кррасота!.. Рукописный апокалипсис; светские антиаввакумовские произведения; рецепты древнейших художников и многое такое, в чем сам ни черта не разберусь.

Спешу на вечер Островского.

Кое-что воспоминательное, авось, потом напишу. Сейчас и делишек куча. Надо еще нынче срочно о пастухе брошюру сделать и выпустить, как партзадание.

Привет красавице жёнке и всем, не отрицающим литературу. Не забывайте старика.

К. Коничев.

* * *

8.5.55 г.

Дорогой Виктор Васильевич!

От всей души поздравляем Вас и Иру с дочкой. Это такая радость, перед которой должны уйти в тень все удовольствия другого калибра — вроде новых книг, чинов, орденов и даже девушек с их лукавой любовью, будоражащей чувства независимо от чинов и лет! Не сомневаемся, что дочка будет в маму, а потому счастлива и ныне и в летах!..

...Занят я был последнее время изучением Герцена — результаты этих изучений получат отражение в некоторых статьях, комментариях к академическому Герцену, в разборах критического порядка новых работ о Герцене. Обещал дать подвал о Герцене в "Лит. газете", но никак не могу найти подходящую тональность. Газета — это ведь совсем особый метод оформления мыслей.

Летом надо будет заняться "Летописью Белинского". Я подписал договор с Гослитиздатом, но нет никаких стимулов перебирать свои старые карточки и полотнища — до того они мне успели надоест за 1947—49 г., когда я с ними возился. Но, конечно, заставлю себя засесть за эту работу — она в материальном отношении весьма весома...

...В Саратове скучновато... Через год у нас будут три новых доктора — Боброва, Евграф Иванович и Марг. Мих. Уманская!

Дни стоят чудесные. Волга остается Волгой.

Сердечный привет от нас обоих Ире и Вам.

Ваш Ю. О. (Оксман).

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

За книгу Засодимского спасибо — и за то, что послали и особенно за то, что издали — большое спасибо!

Очень обрадовали Ваши слова о Шолохове — о том, что он находится в "спортивной" форме, работает.

Рад, что Вы работаете все более активно и последовательно. Поздравляю Вас со всевозможными успехами.

Начинаю понемногу оживать и я. Во 2-м номере "Литер. Москвы" идут "Рычаги" — рассказ. На днях сдам повесть. Видели ли наш сборник "День поэзии" — это победа нешуточная, хотя кое в чем пришлось и спасовать, уступить: сняли около 20 стихотворений.

Вчера в ЦДЛ был большой праздник — обсуждение романа Дудинцева. Это был триумф, рождение новой литературы — боевой, гневной, большевистской. Улица Воровского перед ЦДЛ была запруженна народом. Работала милиция, вплоть до конной, подкрепления вызывались отрядами по 10, по 20 соловьев-разбойников. Многие даже с билетами не могли попасть в клуб. У Анны Караваевой оторвали все пуговицы, а она была очень счастлива (если не врет). С трудом пробился сам автор. Конвой провел сквозь толпу Симонова и председательствовавшего на вечере Вс. Иванова. Вот как народ стал отстаивать право литературы на подлинное вторжение в жизнь! И это была первая рецензия на книгу. Я чуть не плакал от радости.

У меня скоро должна выйти новая книжка стихов — "Свежий хлеб".

Жму руку!

Александр Яшин.

23.10.56 г.

* * *

4.3.57 г.

Милейший Гура!

Дорогой и славный, поздравь от меня и поцелуй с 8.III Иринушку. И поприветствуи каргополочку — прислугу.

Из-за чего это вы и в каких дозах поссорились с Викуловым?...?... Немедленно выпейте на двоих лимон 40° и подпишите пакт о взаимном ненападении, уважении и сотрудничестве в создании альманаха к 40-летию Октября...

...Да, еще я послал тебе через Малкова копию своего "послания" в Ленинградский Дом ученых. Глянь-ко. И у меня тут "битва русских с кабардинцами".

Будь здрав!

К. К. (Коничев).

* * *

*Международное
Чехословакия, Карловы Вары
Санаторий
Отдыхающему Гуре Виктору Васильевичу*

В. В.! Привет из Киева! Хоть бы дал знать, как там себя чувствуешь? Рай земной?!

Привет славным и милейшим друзьям чехам!

К. Коничев.

11.VI.57 г.

* * *

11.7.57.

Ви Ва!

*Как волка ни корми, а он все в МГУ смотрит! Безобразие!
Ну неси тя черт, но фатерку-то после себя с помощью
Власенки и т. п. передай Малкову...*

А впрочем никуда ты из Вологды не уедешь. До пенсии. А там мы с тобой оборудуем на двоих дачку в 8 комнатах с теплым нужником, баней и прочими неудобствами.

Опять о Шолохове? Да он же весь исписан!.. о нем как об Иисусе Христе и Наполеоне написаны горы книг и столько же

еще будет перепевов. Давай, стучись в те двери, кои не открыты!..

К. Коничев.
22.11.57 г.

* * *

Здравствуйте, уважаемый Виктор Васильевич!

Беспокоит Вас бывшая студентка, ныне педагог. Надеюсь, что Вы еще не успели забыть наш шумный курс.

Интересно, как сейчас в институте? Почему так получается, что прелесть студенческих лет осознается по-настоящему только сейчас, когда институт остался позади...

...Я хочу Вас попросить посоветовать мне, как лучше организовать работу литературного кружка по советской литературе. Мы выбрали с ребятами тему "Литераторы Вологодской области". Собрались, прочитали Вашу статью о литературном движении в Вологодской области в годы советской власти, установили, с кем из вологодских писателей будем знакомиться... Но с материалом у нас плохо. Что можно найти? — Коничева "Деревенскую повесть", "Огни в Снежном" Угловского, сборник "Литературная Вологда" — вот, пожалуй, и все, чем мы располагаем.

А вот где найти критический материал о Субботине, Тарасове, Власове, где найти их произведения, я и сама еще плохо представляю.

...Извините, что беспокою. Как Вы живете сейчас? Саша еще не ходит в школу? Как здоровье Ирины Викторовны? Знаете, мы как соберемся вместе с бывшими выпускниками (здесь Тамара Спивак, Тося Анисимова), так с грустью вспоминаем, что уже не послушаем лекций Олега Владимировича, не подождим на практических у Виктора Васильевича... А как-то я, читая Вашу статью, поймала себя на мысли, что слышу Ваш голос.

Ну, пора кончать. До свидания. Большой привет всем нашим педагогам.

В. Иваницева.

* * *

Грайфсвальд, 1 мая 1958 г.

Многоуважаемый коллега!

Несколько недель тому назад я Вам направил оттиск своей статьи об эпическом стиле Шолохова. Может быть, оттиск потерялся в пути или Ваш адрес был мною указан не совсем точно. Прошу Вас написать мне, получили Вы оттиск или нет. В случае неполучения его, я Вам вышлю другой экземпляр. Я очень заинтересовался Вашим выступлением в Пушкинском Доме 24 мая 1955 года, особенно Вашим требованием по вопросу художественной стилистики в области шолоховедения. Если Вы получили мой оттиск, тогда я Вас очень прошу дать мне Ваш отзыв о нем. Я пытался раскрыть композицию цельного отрывка из "Поднятой целины", хотя мне вполне известно, что целесообразно проанализировать композицию всего произведения в целом.

Но для того, пожалуй, нужна обширная монография; я хотел только продемонстрировать метод анализа эпического произведения с особым учетом временной последовательности и системы лейтмотивов. Схема в конце статьи не может не являться в известной степени абстрактной, но мне хотелось то, о чем я говорил в статье, продемонстрировать наглядным образом.

Недавно я читал статью Е. Старицкой о Леонове, в которой она пишет, что Леонов любит рисовать графические схемы композиции своих романов. Думаю, что этот прием может пригодиться литературоведу при анализе композиции художественного произведения.

Осенью я пребывал несколько недель в Ленинградском Пушкинском Доме, где мы с Павлом Наумовичем Берковым беседовали и о Вас...

...Я работаю старшим научным сотрудником и читаю лекции по русской литературе, и фольклористике, и по чешской литературе в Грейфсвальдском университете. Наши студенты — большей частью будущие учителя русского языка в десятилетках.

Был бы я очень рад вступить с Вами в обмен мнениями по разным вопросам русской литературы, в особенности художественной стилистики. И у нас вульгарный социологизм и пре-небрежение спецификой литературы, в особенности вопросами стиля, не изжились.

С глубоким уважением и сердечным приветом
д-р Рааб, Гафальд Готфридович.

* * *

Уважаемый Виктор Васильевич!

К нам обратился преподаватель советской литературы Цинхайского педагогического института Цэнь Шоу-пэнь, выступающий в китайской печати со статьями о Шолохове. Он просит помочь установить переписку с Вами и рядом других советских литераторов. Ждем согласия сообщить ему Ваш адрес.

Отв. секретарь "Лит. газеты" П. Карелин.

21 октября 1958 года.

* * *

2.3.59.

BB!

7 марта отсель сматываемся я и СВВ. Чуть, парень, не угробились. Вологда могла бы лишиться писателя (я не в счет!).

Ехали в Севастополь выступать в Доме офицеров и в в/части. Машина перевернулась, и от пропасти в 40 сантиметрах бог ее остановил.

По приезде в Севастополь я купил 5 кг воску и сделал свечу, и сам отслужил молебен (где стоит Тотлебен). С. В. неделю от страха заикался. Сейчас прошло. И по его просьбе я сидел над его головой и выстригал 450 седых волосков, появившихся тоже в результате аварии...

26.2, в день моего рождения, на радостях выдули 6 бутылок коньяку, того и тебе и всем вологодским землякам желаю.

Жду в Ленинград писем твоих с фактами из жизни.

Будь здрав!

К. Коничев.

А писалось здесь здорово и порядочно. С. В. сделал классическую поэму. Идет в "Октябрь" немедленно.

* * *

Многоуважаемый Виктор Васильевич,
я Вам очень признателен за Красова. Года полтора назад я
писал в одной из статей о том, что Красова забыли; теперь
Вы восполняете этот пробел и отличным образом.

Я уверен, что в печати отметят и выход сборника, и Вашу
работу.

Большое спасибо.

Ваш Вл. Лидин.

8 сентября 1959. Переделкино.

* * *

11 сентября 1959 года.

Уважаемый Виктор Васильевич,
благодарю Вас за присланные мне Ваши книги. Должен к
стыду своему сознаться, что сочинений поэта Красова я со-

всем не знал. Когда-то в юности в старых сборниках, вероятно, и попадались кое-какие его стихи, но ни одно не запомнилось. Теперь я с живым интересом прочел его произведения. Конечно, это все второстепенно, но в истории русской поэзии имеет значение и такая второстепенность, потому что она показывает, как молнии творчества больших поэтов пробуждали души и чувства и освещали ту пустыню, которая тогда окружала таланты, не могущие пробиться сквозь тяготы жизни к своему истинному призванию.

Красов — типичный неудачник, и вся его бедственная жизнь — яркое свидетельство тому. Обреченность чувствуется и в его стихах.

Сборник же — семинарий о Шолохове — я еще подробно не рассматривал, но, перелистив, увидел, что это обстоятельная работа, которая взяла много труда и времени. Как справочник даже — по Шолохову — она будет полезна и писателям, а не только учащимся, изучающим жизнь и творчество этого выдающегося писателя нашего времени.

С уважением

Н. Тихонов

* * *

21 окт. 59

Москва

Милый Виктор Васильевич!

Вы, право же, преувеличиваете мою роль относительно всей этой истории с "Сережей"! И я не знаю, кто из нас больше играет в куклы — Наташа или мы, все взрослые люди. Во всяком случае, историю с Сережей знает добрая половина моих знакомых и переживания их едва ли меньше Наташиных. Во всяком случае, это веселье моих друзей, собранное вместе, могло бы составить силу, способную двинуть паровоз с сорока вагонами.

Я очень рад, что удалось найти куклу-мальчика, признаться, я этого и не предполагал, сочиняя первое письмо Наташе. Раб экспромта и веселья, я был нескованно счастлив, когда в магазине "Детский мир" обнаружилась подобная кукла. Продавцы немало потели, подбирая гардероб, и были уверены, что я подбираю это по крайней мере побочкой внучке, если не сказать большего...

...В Москве даже возник сценарий о том, как некий писатель истязал девочку из Вологды. Как он ей послал сначала пальто куклы, потом первый гарнитур одежды, потом второй, потом фотографический снимок с куклы... Потом сообщил, что кукла заболела, потом он выдумал что-то еще и, наконец, когда пришла кукла, девочка заболела сама, или того хуже...

Нет злословнее общества, нежели литературное...

...Привет всему вашему квартету. Окажетесь в Москве — мой адрес известен.

Евг. Пермяк.

* * *

Уважаемый Виктор Васильевич,

если будем живы и здоровы, и другие пути не пересекут, то я с большим удовольствием присоединяюсь к вологжанам, собирающимся в июне посетить Белозерск — мечта моя давняя. Будете писать Гарновскому — передайте ему от меня сердечный привет.

В Союз надо подавать заявление о приеме в возрасте 10—12 лет, тогда к 25—30 годам что-нибудь да выйдет.

Жму Вашу руку.

Вл. Лидин.

25 февраля 60
Москва.

* * *

Москва, 29.2.60.

Дорогой Виктор Васильевич!

...Поездка в Сямжу откладывается, как откладывается у меня все в жизни. 20 марта еду в Англию, а до 20-го надо переделать массу дел здесь, в Москве.

Сегодня буду в СП РСФСР — поговорю с Карцевым по поводу вологодских дел и приема в Союз тех, кого намечали.

Вы со своей стороны нажмайтесь.

...Желаю всего самого хорошего.

С. Антонов.

* * *

6.III.60

Уважаемый Виктор Васильевич,

очень благодарен Вам за Ваши труды, мне, разумеется, это пригодится. Дело в том, что человек, о котором я пишу (полувымыщенное лицо) в повести, был в ссылке в Сольвычегодске в 1907—8 годах, так что мне нужен примерно облик города в то время, например, далеко ли от него пристань реки Вычегды и какая вокруг природа. О соляном озере мне было полезно узнать. Я колебался — не остановиться ли мне на Великом Устюге и Усть-Сысольске, но Сольвычегодск — постарше город, вероятно живописнее.

Спасибо за совет о краеведческом музее, если понадобится, я туда напишу.

Еще раз благодарю Вас за товарищескую помощь и желаю успехов в работе.

Л. Никулин.

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич,
в течение нескольких дней я безуспешно пыталась найти в
книжных магазинах Ленинграда Ваши статьи о "Тихом Доне",
опубликованные в 1950 г. в "Лит. Саратове" и "Уч. записках"
Вологодского пединститута, и Ф. А. Абрамов посоветовал
мне обратиться за помощью непосредственно к Вам.

Дело в том, что профессор Мичиганского университета
Стюарт, специалист по Шолохову, чрезвычайно заинтересо-
вался Вашиими статьями, справедливо считая, что они могут
быть весьма полезными для его работы о "Тихом Доне". По-
этому он обратился к нам на кафедру зарубежных литератур
с просьбой прислать ему Ваши статьи в обмен на американские
университетские издания.

Занимаясь историей американской литературы, я очень за-
интересована в таком обмене, но, к сожалению, не располагаю
всеми необходимыми для этого книгами и нигде не могу их
приобрести.

Буду очень признательна, если Вы сочтете возможным при-
слать мне Ваши статьи и готова предложить Вам свои услу-
ги в качестве переводчика, если у Вас возникнет желание
сообщить что-нибудь своему американскому коллеге.

С глубоким уважением

А. Савуренок.

* * *

Многоуважаемый Виктор Васильевич,
искренне благодарю Вас за "Жизнь и книги дяди Гиляя". Не
удивляюсь тому, что эта маленькая Ваша книжечка быстро
разошлась: она, действительно, очень интересна и, притом, не
только для специалиста-литературоведа. Но я действительно
удивился, увидев на последней странице Вашей книги "Литера-
туру о В. А. Гиляровском": кроме "Записок" Н. Телешова я
ничего не знал из перечисленных Вами работ. Приписываю это

не только моему невежеству (оправданием мне служит лишь то, что я, строго говоря, только отчасти занимаюсь историей русской литературы, хотя и интересуюсь ею в полном объеме), но прежде всего неудовлетворительностью нашей литературоведческой информации... Впрочем, за всем не уследишь...

Спасибо, что не забываете меня своими приношениями. Вскоре, надеюсь, смогу отправить Вам в обмен что-либо из новых работ моих, находящихся в печати, в частности по Тургеневу.

Уважающий Вас

М. Алексеев.

Ленинград

* * *

Уважаемый тов. Гура!

Летом 1959 года, когда я была в научной командировке в Москве, в институте мировой литературы им. Горького мне сказали, что Вы работаете над очень интересной темой: оценкой произведений Шолохова в мировой критике. Я — преподаватель Будапештского университета и сейчас пишу кандидатскую диссертацию, тему которой можно было бы сформулировать так: "Оценка произведений Шолохова в Венгрии (1930—60 гг.)" или же "Шолохов в Венгрии".

Материал уже собран и написана основная глава о 30—40-х годах (до 1945 года). Материал оказался довольно богатый и интересный, несмотря на то, что в Венгрии в те годы мало издавали, а еще меньше писали и спорили о советской литературе. В те годы Венгрия была основательно изолирована от советской России, и издание, а часто и оценка советских книг происходили при посредничестве какого-либо другого языка, чаще всего немецкого...

...Меня же интересует время изданий произведений Шолохова (главным образом, "Тихого Дона") на немецком, француз-

ском, английском и итальянском языках, те дискуссии, которые развернулись в связи с романами Шолохова, основное их направление, связь критических статей о произведениях Шолохова с постановкой и обсуждением проблемы социалистического реализма. В Венгрии в 30-е годы "Тихий Дон" стоял в центре споров о "новом" реализме и были напечатаны статьи Ромена Роллана и Арагона. Арагон не упоминает Шолохова, но венгерские критики, развивая положения статьи Арагона о романе "нового" реализма, часто обращаются к анализу произведений Шолохова.

Хочется надеяться, что Вы мне поможете...

...Я посыпала в Союз советских писателей фотокопии с переводом интересных документов: переписки генерального прокурора и начальника генштаба о запрещении "Тихого Дона" (1942 год).

С сердечным приветом

Каман Е.

Декабрь 1960 года.

* * *

3.6.61.

Гуре В. В. Приобретшему авто — "Москвич".

Гуре и его "Москвичу",
И даже хоть купит "Победу",
Свою жизнь доверять не хочу,
Ни за что я в авто не поеду.
Пусть бешено мчится Гура,
Его это личное дело,
А мне подыхать не пора,
Жить пока не надоело...
Сохрани, Господь, мое тело!

Поздравляю! А стихи эти я из зависти к тебе и к твоему "выезду" сочинил. Но все же обрати на это внимание. Может еще и решусь прокатиться. Увижу, как ты "повозничаешь".

Салют!

K. K.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

Сердечно благодарю за авторское подаренье.

Книгу о нашем общем друге — Евгении свет Андреевиче — прочла с интересом и волнением.

Живость изложения в сочетании с лаконизмом и хорошо отобранными деталями придают очерку выразительность и динамичность.

Еще раз спасибо!

С искренним уважением

Л. Татьяничева.

13.1.1963 г.

* * *

Здравствуйте, дорогой Виктор Васильевич!

После встречи в декабре прошло уже много времени, а написать Вам собрался только сейчас. До конца учебного года остается всего одиннадцать недель. И это заставляет размышлять — а что дальше?..

...Давно думаю над этой "проблематикой" и ни до чего додуматься не могу. И без Вашей помощи не додуматься.

Сейчас ничего существенного писать даже и не начинаю, ограничиваюсь кое-какими набросками, потому что хлопот полон рот. Хорошо еще, читаю не меньше, чем раньше, хотя и меньше теперь журналов под руками. Начал читать "Исто-

рию русской критики", Воровского, Плеханова, перечитываю Белинского, академическую трехтомную "Историю русской советской литературы".

Вот так у меня обстоят дела.

В отпуск (добро бы в окончательный!) выеду в середине июня, по-видимому...

...Да, еще одно. У Викулова в отделении СП лежит моя рецензия на повесть В. Белова "Деревня Бердяйка" (рецензия была послана на совещание молодых). Не могли ли бы Вы взять ее и посмотреть, что она стоит?

Когда появится коллективный альманах?

Пишите. Очень жду.

С уважением Ваш В. Оботуров.

31.3.63.

* * *

Из Киева, 27.3.1964 г.

Уважаемый товарищ Виктор Гура!

К сожалению, я лично с Вами не знаком, но это не помешает мне написать Вам пару слов о Вашем большом чувстве товарищества, сердечности к человеку труда, к собрату по перу. Дядя Костя — Константин Иванович Коничев — мой хороший друг детства, земляк-побратим, прислал мне для ознакомления написанную Вами большую статью "Сын Севера" (газ. "Кр. Север", 25.2.64 г.). Статью прочитал я вслух в кругу своей семьи. Все в этой статье сказано верно, без прикрас...

...Тов. Гура! С Вашим литтворчеством (через К. И. Коничева) я немного знаком. Конст. Ив. все присыпает мне — альманахи, статьи, газеты, где и Вы печатаетесь, и я читаю. Сам лично я много лет служил на военной службе в воинских частях на севере (Вологда, Архангельск и т. д.)...

...Дядя Костя теперь в Ялте — он по-прежнему на литературной вахте. Ему 60. Пожелаем ему счастья.

С уважением

гвардии генерал-майор танковых войск запаса Герой Советского Союза

Родионов Михаил Иосифович.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

...Письмо Ваше получил. Оно доставило мне немалое огорчение. Я-то думал, снабдив Вас некоторой суммой, что Вы израсходуете ее на закупку макарон, манки и т. д., а Вы хотели приобрести предметы роскоши. Но главное не в этом. Рост зажиточности, конечно, позволяет людям интересоваться и предметами искусства, но какими... Если Вы хотите купить картину, то обязательно "ню", если бронзу, то "цыганку". Говоря откровенно, я очень рад, что ничего такого Вам не удалось купить. Я считал бы себя в какой-то степени виновником в Вашем моральном разложении, если не полном падении. В самом деле, к чему это ведет? Сегодня Вы привезете бронзовую цыганку, а завтра — захватите в Москве и доставите в Вологду цыганку настоящую, живую... А диссертация?

Вообще, с защитой надо поканчивать, и как можно скорее. Из последнего Вашего письма я сделал заключение, что поездка в Москву или Ленинград для отыскания каких-то материалов по Шолохову только благовидный предлог...

Список книг, о которых Вы мечтаете, прочел. Не знаю, правильно ли я Вас понял, но Вы хотите иметь все основные биографические работы. Не буду разбивать Ваших мечтаний. Мечты! Что же может быть лучше? Мечты! Это великолепно!

Не знаю почему, но вдруг вспомнил слова гоголевского Подколесина: "Мальчишки — они шалуны большие".

Вы спрашиваете об изданиях на периферии, в смысле роста. На это точно ответить не могу, но рост скуки несомненен...

Ваш Н. Мацусев.

12 апреля 1964 г.

* * *

Университет Калифорнии, Беркли

Дорогой профессор Гура!

Я редактор центра славистики в Калифорнийском университете. С помощью моего сотрудника Катлин Смит, владеющей русским языком, я перевожу и пересказываю русские народные сказки для детских иллюстрированных книг, а также для сбораний сказок. Основным моим источником был сборник сказок Афанасьева, хотя через нашу библиотеку нам удалось найти и некоторые другие сборники.

Недавно я имела удовольствие встретиться с профессором Владимиром Хомяковым в Беркли, в доме Жанин Дэвис-Кимвалл, которая работала как археолог в Казахстане... Он предложил мне написать Вам, во-первых, потому, что Ваш институт является хорошо известным центром изучения фольклора, а, во-вторых, потому, что он предполагает, что Вы или Ваши сотрудники могли бы оказать нам помощь... Нам доступны сказки, опубликованные в Советском Союзе, но возможность обращаться к архивным источникам у нас крайне ограничена.

Мы перевели сказки Афанасьева "Умная девочка", "Язык птиц" и "Кот, лиса и волк". Мы также перевели сказку Бажова "Каменный цветок", которая, строго говоря, является литературной сказкой, а не фольклорной. От профессора Хомякова я узнала, что существует широко известный в Советском Союзе балет С. Прокофьева "Каменный цветок". Я бы очень

хотела узнать, какие театры или балетные труппы ставили этот спектакль.

...Благодарю Вас за внимание к моему письму. Я надеюсь, что идея увидеть русские и советские сказки опубликованными в английском переводе покажется Вам достойной внимания, и Вы сможете помочь нам. Дети — великие ценители русских сказок.

Искренне Ваша Анне Хавкинс.

1.5.64.

* * *

Привет!!! Виктор!

Берусь печатать на машинке. За ошибки она в ответе...

Болесь моя отшатнулась от меня незаметно. ЗДОРОВ. В Архангельск собираюсь, да не знаю, состоится ли там что... Подтверждения нет. Книжка моя с проповедью Предтечи В. В. Гуры накануне выхода. А может сию минуту уже и вышла. Оформления я не выдал, оно еще малковогусевское. Да, печально, что Вологодское издательство с помощью Стальмухина и иже с ним рухнуло. А ведь могло бы держаться, если бы да кабы... Много швали печаталось в областных издательствах, увы, и Вологда не была исключением, а могла бы быть, если бы не холуйский подход к делу и не безропотное подчинение "деятелям" ограниченным и равнодушным типа Петухова-Оглобли и других, кои даже мой антирелигиозный рассказ запрещали печатать в Харовской газете (ныне этот рассказ массовым тиражом выпускает Госполитиздат).

А антияшинская кампания чего стоит! Господи, сколько политханжества было проявлено! Усердствовали не по разуму...

...До встречи на Викуловском "симпозиуме" в декабре в Вологде. Всех благ!!!

Дядя Костя

29.8.64.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич,

...Смотритель музея (фамилии не помню) подошел ко мне года три назад, когда был вечер Гиляровского в Вологде, и сказал, что он тот самый, о котором я писал больше четверти века назад, и мы вспомнили о том, что оба были моложе. Возможно, что его фамилия Федышин.

До революции моя сестра была сослана с мужем в Вологду за студенческие беспорядки, и я в первый год своего поступления в университет гостил у них. Кстати, собрал около тысячи вологодских частушек, которые отдал В. И. Симакову, а рукопись, видимо, он мне не вернул. Собирал я без всякого метода, просто записывал, так что я вологжанин старый.

Будьте здоровы.

Ваш Вл. Лидин

30 августа 1964

Переделкино.

* * *

22 июня 1965 г., Ленинград.

Уважаемый Виктор Васильевич!

Ваше согласие перейти на работу в Пушкинский Дом меня обрадовало. О содержании Вашего письма я сразу же сообщил зав. сектором В. А. Ковалеву и, как Вам это уже известно, он приветствует Ваше решение. Одна помеха — отсутствие квартиры... В ближайшую поездку в Москву я буду специально говорить об этом в Президиуме АН СССР. С своей стороны могу сказать, что первая же квартира, выделенная в распоряжение института, будет предоставлена Вам. Об этом я без промедлений сообщу Вам. Но когда это будет? Не думаю, чтобы ранее конца года.

Ваше решение я нахожу весьма целесообразным: в Пушкинском Доме Вы найдете благоприятные условия для научных занятий. И сектору была бы хорошая подмога.

Сборник получил и очень благодарю.

С искренним уважением

А. Бушмин.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

Очень был удивлен, получив Ваше письмо из Вологды. Я был глубоко убежден в том, что Вы уже давным-давно разгуливате по берегу Волги и распеваете песни: "Из-за острова на стражень...", "Весной Волга разольется" и т. д.

Вместо этого Вы провели лучшее время года в душных аудиториях. Выражая Вам свое сочувствие и понимаю, что, будучи председателем госкомиссии, "удрать" было не так просто, ибо исчезновение такого лица могло быть обнаружено. Иногда плохо быть Председателем.

Рекомендую все же поторопиться с отъездом на Волгу. А от заочников нельзя отнимать их положительного качества — "заочность". Раз так, то пусть они в этом чине и пребывают вечно. Нечего им показываться на глаза...

...Уезжая на отдых, не думайте о библиографии вообще и в частности. Пока все по-старому, по-хорошему, без движения... Удочек брать не следует. Кто же теперь ищет рыбу в реках? Почему-то рыба не любит всяких гидростанций. А почему — не говорит. Вероятно потому, что она, рыба, существо бессловесное... Рекомендую Вам ловить рыбу в магазинах. Там она еще попадается, прибывая на континент из океанов (например, "тихоокеанская ср. засола" и проч.)...

Примите от всех нас сердечный привет и пожелание отдохнуть так, как Вашей душеньке угодно.

Ваш кум Н. Мацуев.

Дорогой Виктор Васильевич!

...Ваше второе письмо с марками тоже получил. Некоторые марки оказались мне неизвестными. У меня даже явилась мысль, что их печатали в Вологде. Вообще же (я об этом говорил не раз) Вологда во многом проявляет излишнюю самостоятельность. Сейчас — печатает знаки почтовой оплаты, а затем начнет чеканить монету и т. д. К чему это приведет?

За экслибрисы большое спасибо. У меня снова явилось желание заиметь еще один-два книжных знака. Как-нибудь узнайте и сообщите мне, смогут ли вологодские художники (по примеру Копылова) таковые мне сшить. Прошлый раз получилось очень удачно...

...Прочтя книгу Беркова, Вы сделали вывод, что все библиофилы — сумасшедшие или убийцы. Это — правда. Впрочем, убийц процент совсем ничтожный, но сумасшедшие — все, т. е. 100%. Можно даже, учитывая степень сумасшествия, повысить процент до 110. Автор записок книголюба не учел еще одного качества библиофилов, а именно: воровство и вредительство. Из опыта и наблюдений в Ленинской библиотеке могу сказать, что таковых будет 35%. Цифры округляю...

Ваш Н. Мадуев.

22 жовтня 1965 р.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

Да, солидно, очень солидно издано "Народное устно-поэтическое творчество Вологодского края" (чуть-чуть бы лучшее нужно в типографском отношении — бумагу сортом выше и т. д.). Честь Вам и хвала.

Наши фольклористки — Т. М. Акимова (на днях ее утвердили доктором наук) и В. К. Архангельская что-то все болеют, и я не успел их спросить, читали ли они этот сборник, и м. б. подбить их выступить рецензентами...

У нас прошла полоса защит: кандидатские диссертации защищали Г. Н. Антонова... — очень хорошо, вот кого бы я рекомендовал Вам на курс лит-ры XIX века!; В. В. Прозоров по Шедрину (приезжал А. С. Бушмин оппонентом, а затем выступал на ф-те с интереснейшим докладом о методологических проблемах литературоведения), Н. М. Белова; на очереди — защита А. Татаринцева, В. А. Мыслякова — сильные ребята!..

...Идет жизнь!

Жму руку.

Ваш Е. Покусаев.

11.3.66 г. (по почтовому штемпелю).

* * *

Витечка!

Увы! Меня трудновато завезти в Вологду. Но меня можно завести в Вологде!

Вышла пластинка "Жаров. Стихи. Песни". Есть ли она в ваших культмагазинах? Если есть, и если есть у вас проигрыватель, то купите одну пластиночку и общайтесь иногда со мной заочно!

Привет.

А. Жаров.

11.1.67 г. (по почтовому штемпелю).

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

Книгу получил — благодарю. Как прочту Ваши статьи, с удовольствием Вам "отпишу".

Новостей и много, и никаких. Позавчера вечером чествовали "Вопросы литературы" по случаю 10-летия журнала и 50-летия главного редактора. Поле боя заняли сатирики,

упражнялись и Раскин и Арканов, а литературоведы стоят в стороне. Из них выступили двое — А. Дейч и Гуральник. И оба тоже в сатирическом жанре. Больше о критике сказал Борис Полевой — что критики отстают от жизни, хотя и много воюют, но он, не в пример другим писателям, которые боятся говорить правду критикам, не из трусливых, ибо накануне был и только что вернулся из Испании! А в общем каламбурил — и так почти все.

Только представитель Комитета печати выступал солидно и заискивал перед общественностью, не зная, а вдруг будут атаковать Комитет за его строгие замашки...

...А людей собирали, вечер потратили, а толку маловато.

В мае будет общее собрание Академии наук: выборы всех избираемых на посты руководителей, начиная с Президента...

...В ИМЛИ пришел новый директор Б. Л. Сучков, входит в курс дела. ИМЛИ готовит трудные томы по Всеобщей литературе и Всесоюзной (советской) литературе. А до этого выпустило изд. "Наука" ряд томов, из которых много по советской тематике. Вы их знаете. Классика сейчас не в почете. А "Лит. газета" и вовсе "задвинула" классику на задворки. С "Лит. газетой" возня, многим она не нравится.

Роману — жанру — повезло. В "Ученых записках" мелькают тут и там статьи. Так что Ваш труд придет в пору, вовремя и привлечет внимание.

Будьте здоровы.

Н. Бельчиков.

10.4.67.

* * *

Виктор Васильевич!

На этот раз Вологда раскрылась для меня новыми подробностями древнего русского города. Благодарю Вас за набережные, за домик иноземного купца и русского царя, за все то, что умещается в большое и емкое слово "гостеприимство".

Как я рад, что встреча была такой насыщенной, а коньяк такой крепкий, и Ирина Викторовна такая терпеливая, а Наташа внимательная, а кекс абсолютно сдобный.

Ехал я почти верхом. Купе было на оси колес вагона. Относительно спал, досыпал дома.

Еще раз выражаю в самых изящных словосочетаниях благодарность за гостеприимство. Наши благодарят, кланяются и тому подобное.

Пока-с

Евг. Пермяк.

27 сент. 67 г.

* * *

8 ноября 67

Привет, Виктор Васильевич!

...Как там вы все? Как Саша? Почему Вы передумали праздники проводить в Москве?..

...Погода у нас стоит сверх-солнечная. Розовые зори (и те, и эти). Солнце золотит сосны. К тому же вчера весь мир был потрясен моим выступлением на Красной площади. Не слышали, конечно.

Вся прессы мира комментирует мою речь, длившуюся около двух... этих самых, как их... минут.

У нас были Баруздины. Его наградили Знаком Почета. Подымали. Провозглашали...

...Очень рад за награжденного Трудовым дипломом нашего Сережу Орлова. Он звонил и сообщил об этом...

...Перед праздником я лично и персонально варил, а потом заливал поросенка длиной в большое блюдо, цена 21 руб или 210 на старые деньги.

Очень дорого все стало. Подумать только... Если в поросенке десять кусков, десять нормальных довоенных порций, то каждая стоит 2-10 или 21 рубль. Когда это было?

Подавались также моченые мною яблоки. Люди давились от вкусности и прославляли маринователя.

А в саду цветут корейские золотые хризантемы, бутоны роз, цветет табак и анютины глазки. Им легкие заморозки хоть бы хны... Вот так!

Целуйте своих дамов и кавалеров.

Желаю Вам... (допишите мысленно что именно).

*Пока! Ауто-да-фе! (так прощается рыночный герой в моем рассказе *Голландские луковицы*, публикуемом 12 ноября в "Лит. России"). Пожалуйста, почитайте. Мне что-то очень нравится этот рассказ. Наверно потому, что я скромный...*

Евг. Пермяк.

Москва, 12 ноября 1967

Дорогой Витя!

Спасибо за память и добрые слова. Я только что вернулся с Кипра и из Австрии. На острове купался в том самом заливе, где "пеннорожденная" появилась на свет Афродита. Рассчитываю после этого помолодеть. В Австрии был на должной высоте (2230 метров над уровнем моря), в Альпах. В обеих странах снимал цветные диапозитивы (слайды) и могу рассказывать теперь что о Кипре, что об Австрии с иллюстрациями на весь экран.

Хочу приехать с этими рассказами в Вологду, Беловерск и Кадников (в Кадников тянет, т. к. когда был там, не разыскал того, что, судя по Железняку, там есть, а незавершенность всегда меня беспокоит).

Если дело с биографиями двинется — сообщи, я основательно поправлю и дополню свою жизнеописанию — есть кое-что антиресное.

Пиляр должен был прислать тебе — прислал ли? Я с ним несколько раз говорил.

Тендряк... важничает, говорит, что его биография уже печаталась, могут, мол, взять оттуда.

Встретил в "Крокодиле" писателя, уже немолодого, воло-годца Ананьина Сергея Александровича. У него вышло две книги (или три), много пишет в периодике. По-моему, он не член ССП, но тебя знает (видишь, как ты славен). Коль скоро ты вологодский Иван-Виктор Калита писательских сил — напиши ему, — идея вологодского землячества Ананьину по душе...

...Хочу в Вологду. Если не уеду лечиться в Ессентуки — появлюсь на вологодском горизонте с рассказами о путешествиях.

Юрий Арбат.

* * *

Дорогой Виктор Васильевич!

В сентябре-октябре был далековато от Москвы (8 тыс. км, Нижняя Тунгуска, Эвенкийский национальный округ), поэтому Вы застать меня дома не могли, разумеется.

Поездка эта была чрезвычайно интересной для меня, но после ночевок в тайге у костров дал в Москве знать о себе мой радикулит — теперь лечусь домашними средствами и чуть-чуть работаю. Делаю заметки, наброски для "Берега" — условное название вещи, которая полегонечку начинает тревожить меня, подталкивать, окружать, что ли. Война? Современность? Современность плюс война. Что получится — бог весть. Серьезно же пока за роман не сел: кое-что надобно еще уяснить для самого себя.

...Жму Вашу руку

искренне Ю. Бондарев.

30 окт. 70 г.

29.9.68.

Виктор Васильевич!

Привет. Очень увлечен Череповцом. Днями рыскаю. Вечерночью — Воронихину. Условия-жилье 5+! Тишина. Блеск.

Двое суток рядом за заборкой соседствует Латунов, я, как вельможа, с его превосходительством завтракаю за одним столом! Сегодня ночью спросонья крыл я кого-то матом бешено и громко и переполошил высокое начальство...

Работы уйма! Денег ни гроша. Жму на Воронихина. В Вологду — не знаю. В октябре-то заеду на воскресный денек.

Адрес Молчанова Ивана Никанорыча у тебя, наверно, есть...

...Наверно из Молотова он заедет ко мне, а отсюда его спущу нырком в Рыбинское море...

К К

* * *

6 октября 68 (нет, оказывается 7-е уже).

Милый Виктор Васильевич!

Мерси Вам боку за теплое письмо. *Ин штрассе то ес регнет, то ес шнесс, то черт его знает что, а самочувствие все равно хорошее.*

Недавно проявили и отпечатали старые пленки...

...Я пишу много, но не то пока. Роман будет называться *Сахарная осока*. В этом месяце выйдет 36-я книжка биб-ки ОГОНЬКА, так что учтите. 20 окт. в народном театре завода ЭИЛ состоится премьера по бессмертному и абсолютно рабочеклассному роману одного из современных талантов, фамилию которого я не помню. Называться, кажется, будет так же — *Последние заморозки*. Видел прогон, это что-то очень хорошее. Постановщик и инсценировщик мхатовец Сергей Львович Штейн. Приезжайте. Один конец дороги (на такси от вокзала) оплачиваю.

Пруд спущен. Карпов развез по 10 штук на секретаря. Сам не ел. Как-то невовко есть рыбку, которую знаешь по имени и отчеству. Бассейн спустил. Печальна пустая яма...

...Сегодня получил второе письмо из порта Тикси, где живет мой тезка мальчик Женя и его одинокая мать, с которой мы переписываемся...

...Ее сыну недавно послал коллекцию английских автомобилей моделей-копий настоящих. И дверцы открываются, и капот, и багажник. Под капотом полнейшая иллюзия мотора. Вместо фар ограниченные бриллиантики-хрустали. Ну, словом, шик мадЕрн и вЙше...

Виват!

Евг. Пермяк.

12.5.69.

Дорогой Виктор Васильевич.

на меня произвела большое впечатление программа организованной Вами в Вологде сессии, посвященной "Проблемам реализма в русской и зарубежной литературе". По своим масштабам и широкому представительству столичных и периферийных литературоведческих центров новый симпозиум представляется мне более перспективным, чем дискуссия на эти же темы в ИМЛИ. Честь, Вам и слава! Я, кажется, писал Вам о том, что зрелость ученого определяется не его чинами и орденами и не только его личной научно-исследовательской и педагогической работой, а еще и научно-организационными способностями. В этом отношении Вы давно уже в моих глазах созрели для руководящей работы в Москве или Ленинграде...

...За Ваш же сборник "Уроки жанра" приношу Вам большую благодарность. Сборник интересен, хотя и несколько жидковат.

Будьте здоровы и благополучны. Шлем большой привет Ире, Вам и ребятам.

Всегда Ваш Ю. Оксман.

Уважаемый Виктор Васильевич!

...О молчании нашего друга. Оно смущает и огорчает. Как будто человека не стало. Ничего не понимаю. Встречаться не удается, а по телефону: "Как дела? Как здоровье?" и т. п. Последний раз я с ним говорил по телефону — звонил ему из Москвы в станцию 25.V, поздравил с днем рождения. Голос хороший, свежий, молодой, бодрый. Что случилось?

В народе ходят слухи, будто его последнее творение вверху не пропустили. Быть не может, не верится. Скорее всего, он еще не закончил, а если это так, то, видно, и не закончит. Ну что же! Не всякому дано создать то, что он создал ранее. И я глубоко преклоняюсь перед его творениями и перед ним, перед человеком. Человеком таким, каким я его знал, каким он вошел в мою жизнь, в мою душу. Ведь так чудно скрестились наши пути — большого художника, при жизни ставшего классиком, и скромный путь залурядного, рядового советского человека.

Но и не в этом дело. Как полюбился он мне смолоду (ведь скоро сорок лет!), таким он и остался и останется во мне до конца моих дней. Для меня это самый дорогой человек из всех людей...

...Вот видите, Виктор Васильевич, как я расписался. Так уж вышло. Каждый человек, любящий, уважающий моего Михаила Александровича, мне близок и дорог.

С радостью встретился бы с Вами, погутарили. А если Вам удастся повидать нашего друга, передайте ему мой привет, уважение и любовь, мужскую, непреходящую.

Жму Вашу руку...

Ваш А. Плоткин.

2.XI.69 г.

** * **

Милые моему сердцу большие и малые Гуры!

Добрались в Саратов благополучно вечером 13-го. Уже и день прошел на саратовской земле, а живем мы с "тov. Шурой"

Вологодчиной. И даже роль руководителя настолько прижилась, что, проснувшись, начал с приказа по пунктам. На что последовал ответ: опомнись, не в Ферапонтове же ты проснулся...

Дружеское, сердечное спасибо за все.

“Перед грозой” Ю. Петрова “вписалось” вполне в демократическую обстановку столовой. Кстати, В. В., я забыл оставить деньги за этотд, но, пожалуйста, заплатите Ю. П. сколько запросит, а я пришлю Вам. Вполне достаточно было подарков и главный из них — чудесная поездка по глубинным российским землям!

Прошу Вас, отнеситесь к этим моим словам насчет работы Ю. Петрова как водитель, выслушивающий и выполняющий приказ руководителя (видите, дважды на одной странице каламбурю, словно продолжается путешествие в Кириллов!).

Дружески жму руку.

Ваш Е. Покусаев.

14.VII.70 (по почтовому штемпелю).

* * *

20 июля 70

Дорогой Виктор Васильевич,

надеюсь, еще не уехали на арбузы, и мое письмо застанет Вас. Рад Вашей бурной деятельности и сожалею, что гости “выгостили” у Вас так много рабочего времени, бензино-километров и т. п. Гость хороши на короткий срок. А я по-прежнему в сплинах, в страхах, в начинаниях и несвершениях. Жизнь скрашивает Сережа Орлов. Он готовит “северный пленум” в Архангельске. Никак не понимаю, почему там. Главные писатели нашего севера в Вологде. Там и надо бы... Видимо, есть особые соображения. Вологда, наверно, и без того посещаемый

город. Ну и что? В Вологде что ни литератор, то — имя и даже широко известное имя со своим почерком, со своим местом на книжной полке. Ну да это не ревизионный вопрос. Вообще я не знаю, какой вопрос ревизионный. Я так рвался и хотел оставить след в этом, как мне казалось, целинно-непаханном деле, а н нет. Консультировался у знатоков и оказалось, что РК СП РСФСР мало что может сделать... Ревкомиссия Союза разобещена. Из 47 ее членов примерно 37 живут по градам и весям федерации. Ну вот живет, скажем, в Вологде Ольга Александровна Фокина... Что можно попросить ее сделать в Вологде? Проверить уплату членских взносов в СП, в Литфонд, ознакомиться с деятельностью уполномоченного Литфонда? Проверить, наконец, своевременность уплаты ссуд... Так ли уж много этого, да и будет ли она заниматься этим.

А я думал, что ревкомиссия творческого союза — творческая ревкомиссия. А оказывается нет. В уставе этого не сказано. Вот и самоугрызаешься, что ты бездельник. Так все по мелочам и создает, вернее не создает нужного тонуса...

Самые лучшие пожелания Ирине Викторовне. Такие же Наташе и Саше. Относительно Кешки даже не знаю что Вам посоветовать. Конечно, собака друг человека, но друг очень дорогой и придоемкий. Так что примите мои сочувствия...

Обнимаю.

Евг. Пермяк.

* * *

7 февраля 74

Милый Виктор Васильевич!

Вам, конечно, известно, какой я чтец литературоведческих трудов. И тем более знаете Вы, как я мало читал и читаю вообще.

На этот раз... Одним словом, поздравляю Вас с появлением фундаментального, хотя и сжатого, труда "Роман и революция".

Читая выборочно, перескакивая из начала в середину, забегая в конец, я все же составляю постепенно законченное впечатление. А главное — узнаю то, что мне не было известно. Многих из тех, кого разбираете Вы, я знал лично и (это позор!) не знал творчески. А знал бы их просчеты, завихрения, искания и хуже того, я не изобретал бы многих велосипедов в своей работе.

Ваша книга могла бы появиться и десять лет тому назад. И как бы это было полезно для таких, как я...

...Мне очень нравится смелая прямота и лаконичная точность суждений, определений, диагнозов и т. п. В этой книге я Вас увидел тем, каким не знал. Очень важно было в этой книге увеличить цитирование разбираемых произведений. Важно потому, что их теперь не найдешь, а если и найдешь, то не захочешь перечитывать уйму листов.

В книгах такого рода, как Ваша, много значит и еще больше решает язык. В данном случае Ваш язык, свободный от соблазнительных в таких случаях "академичностей" необыкновенно обыкновенен в хорошем смысле этого слова. Человеческий язык. Не затрудняющий чтение и не упрощающий суть дела.

Хочется воздать дань Вашему трудолюбию. Для 400 страниц "Романа и революции" надо было не просто прочитать, но и осмыслить тонну книг... Если не больше...

...Всякая хорошая книга становится учебником, если даже она не называется им и не претендует стать таковым. Начинаяющих, да и пишущих эта книга многому научит, во многом предостережет и уж, конечно, обогатит... Не знаю, нужно ли было в книге, ограниченной 1917—1929 гг., делать довески из позднейших лет. Это кого-то может ранить... Впрочем, об

этом беспокоиться нечего. Как кончилось, так и кончилось. Это право автора. Однако же, опять к слову доведясь, скажу — кроме авторского права есть и читательское.

Нижайший Вам и всей династии

Евг. Пермяк.

* * *

Здравствуйте, дорогой Виктор Васильевич!

Вам самые теплые приветы от всех саратовцев!

...Статью я закончил, отдал в "Наш современник", возьмут ли, нет — не знаю. Как судьба решится, обязательно сообщу Вам.

Виктор Васильевич, я бы очень хотел услышать Ваше мнение о законченной статье и учесть замечания (а их, видимо, будет немало, т. к. все-таки я спешил и домашние волнения мешали). Вы уж мне отпишите, пожалуйста.

О концовке семинара мне рассказывали, очень жалко, что пришлось раньше уехать, ну да и так будет что вспомнить и польза от него ощутимая. Большое спасибо Вам за доброе отношение и советы! Закончили ли сами статью о Шолохове?

Всего Вам доброго и творческих успехов!

Николай Машовец.

1.12.74.

* * *

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас по случаю славного юбилея! Свидетельствую, что в научных кругах Польши Ваше имя хорошо известно, а Ваша фундаментальная монография "Роман и революция" пользуется большим спросом.

Желаю Вам новых научных и творческих успехов, крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

С искренним уважением.

Ст. Ильев

Гданьск, май, 1975.

* * *

Зиновий Паперный

ОДА

на третье координационное совещание
в Вологде 17—19 мая 76 г.

Как много рыцарей науки
В преславном граде собралось!
Гура! как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Гура! Филолог, торжествуя,
Писательский мурлыжит путь.
Его студентка, смысл почуя,
Плетется мыслью как-нибудь...
Да, птичка божия не знает
И ни заботы, ни труда,
Что от Гуры и отличает
Ту птичку божию всегда.
Наш Виктор, самых честных правил,
Сердца филологов зажег.
Он совещанье так составил,
Что лучшее выдумать не мог:
Иезуитов, Николаев,
Билинкис (лично) и Гуляев,
Андреев, Гиршман, Сапогов,
Василь Иваныч Кулешов...
И сколько, сколько их, мой Бог, там!

За Краснощековой Сурпин,
Галина Белая за Фохтом
И за Микешиным Маймин.
Пусть не приехал И. Баскевич,
Пусть не доехал Ломунов,
Зато приехали Цилевич,
Петросов, Корман, Чумаков.
Играй, Адель, не знай печали,
Резвися, не жалея сил.
Хариты, Лель тебя венчали
И сам Гура благословил.
Товариц, верь, пройдет она,
Статья, написанная броско,
И на страницах вологодских
Напишут наши имена.

* * *

Совсем недавно, глубокоуважаемый Виктор Васильевич, я вспомнил чтение Вами отрывка из последней книги о Шолохове. Главы, прочитанные Вами, прозвучали как песня. Впрочем, ведь и Вашей задачей было показать народно-фольклорную основу "Тихого Дона", что, по-моему, сделано Вами блестяще...

И вот вчера мне пришлось вновь вспомнить это вот по какой причине: читая у В. Шкловского статью "Григорий Мелехов и Аксинья", нахожу следующее: "Степан встречается в бою с Григорием. Григорий выручает соперника, как в песне, в предании: уступает ему коня. Он уже песенно хороший человек, но он еще не новый человек...".

Это, конечно, мелочь, но именно она напомнила мне, что я все еще не написал Вам ни строки.

Лето проходит, горячее, грозовое. Иной раз от жары бежишь в лес...

По вечерам кое-что пишу... Уже переделал вступительную главку, уменьшив ее вдвое. Но еще не перепечатал. Составляю библиографию. Читаю Горького и о нем. Одно дело кое-что знать, другое — подготовить лекции. Придется потрудиться... К моей радости, я записал две Ваши лекции, которые с Вашего позволения, я положу в основу рассказа о "Климе Самгине". Громадная, между прочим, вещь...

...Все стоит перед глазами прекрасный вид из окна Вашего бревенчатого дома — изумительно, надо сказать, там у Вас.

Завершили ли Вы книгу? И отдохаете ли вообще? Так и чудится — все курите да пишете! Пожалуйста, берегите себя...

А. Пехтерев

10.8.1977 г.

* * *

Здравствуйте, глубокоуважаемый Виктор Васильевич!

...Вероятно, меня Вы не помните... Это было около тридцати лет тому назад. Я заочно училась в Вологодском педагогическом институте на историческом факультете. Мне необходимо было досрочно сдать экзамен по русской литературе... И я отважилась пойти к Вам на квартиру. Вы согласились, экзамен я сдала прилично (до сих пор помню вопросы, предложенные мне Вами). Пединститут' (с отличием) я окончила в 1952 году. Сейчас уже на пенсии. С большой благодарностью, теплотой вспоминаю Вологду, институт, многих преподавателей (П. К. Переображенко, А. З. Цинмана, Т. И. Смирнову, Ю. Е. Юдикиса и других). Пользуюсь любым случаем, чтобы расспросить о всех вас, кто учил меня, кому обвязана знаниями, полученными в институте.

Позднее институт закончили мои ученики (Л. Кабанова, Т. Кирюшина и др.). С 1959 года живу и работала директором школы под Ленинградом.

...Недавно получила письмо от младшей сестры о пож., что ее дочь Богданова Людмила... поступает в Вологодский пединститут на филологический факультет...

...Мне очень хочется, чтобы Люда училась и окончила "мой" институт, стала коллегой по профессии...

...Всего Вам доброго!

С уважением и благодарностью к Вам

Антонина Николаевна Лебедева.

27.7.78 г.

* * *

28.1.80

Дорогой Виктор Васильевич!

Спасибо Вам за "Батюшкова". Очень приятное издание. Сделано с любовью.

Мы все с большой нежностью вспоминаем о чудной Вологде и о наших встречах.

И поездка была превосходной, и атмосфера на конференции была вдохновляющей.

Спасибо Вам!

Ваш Д. Лихачев.

22 декабря 1981 г.

* * *

Переделкино.

Дорогой Виктор Васильевич!

Вышел 12 номер нашей "ДН" с рецензией на Вашу книгу "Как создавался "Тихий Дон". От души поздравляю Вас!

И по традиции жду все Ваши новые издания с автографами для Нурека.

С наступающим Вас Новым, 1982-м! Счастья и благополучия Вам в году приходящем!

Сердечный привет всем общим вологодским друзьям и знакомым!

Искренне Ваш

С. Баруадин.

* * *

30.VIII.84

Ленинград.

Дорогой Виктор Васильевич!

Большущее тебе спасибо за память о Дяде Косте Коничеве. Молодец ты. Надо бы его и лучшую книгу издать. Я говорю о "Деревенской повести"! Она достойна, по-моему, жить и сейчас.

60 лет — это ерунда собачья. Мне скоро 70!

Держись!

Посылаю тебе свои опусы о литературе и разных случаях в этом мире. Не обессудь уж! Посмотри...

Твой М. Дудин.

* * *

31 мая 85 г.

Дубулты

Дорогой Виктор Васильевич!

Ваш юбилей уже отшумит, когда к Вам доберется и мое поздравление. Однако, не отправить его я не мог. Примите — хотя бы задним числом — сердечные мои поздравления вместе с выражением признательности за то, что Вы делаете во имя памяти Шолохова. Желаю Вам долгих лет такой же плодотворной и мужественной работы, такого же высокого, достойного всяческого уважения ее уровня. Всегда рад бываю встречам с Вами.

Глубоко уважающий Вас Ваш Ю. Лукин.

13.XI.85 г.

Дорогой Виктор!

Запомя прочитал твою книгу: очень интересно! Понял: тебя не зря держат в ССП!

Кроме шуток, я узнал много нового и интересного. И написано хорошо. Я — буквоец, но заметил лишь несколько опечаток в датах и совсем немного для такой объемистой книги языковых "блох". Так что все хорошо! Спасибо!

Обнимаю

Ю. Дмитревский.

* * *

Уважаемый Виктор Васильевич! Здравствуйте!

Пишут Вам ученики Ладожской СШ 19 Усть-Лабинского района Краснодарского края. Ваш адрес дал нам Лукин Юрий Борисович. Мы обращаемся к Вам как к исследователю творчества М. А. Шолохова, как к известному советскому литературоведу...

...А пишем мы Вам потому, что решили создать в нашей школе музей Михаила Шолохова. И теперь мы ведем обширную переписку с теми, кто знал, видел, связан непосредственно с творчеством этого замечательного писателя..

...У нас к Вам большая просьба. Примите участие (посыльное) в сборе необходимых материалов для музея. Нам бы очень хотелось, чтобы Вы рассказали о своих работах по исследованию творчества Шолохова, о епечатлениях встречи с ним. Любая информация для нас будет дорогой. Мы думаем, что переписка наша принесет нам много творческих находок.

С уважением к Вам
совет музея СШ 19 станицы Ладожской.

Ждем от Вас ответа.

10.10.1985 г.

Уважаемый профессор В. В. Гура!

Не смог сразу ответить, но думаю, что в будущем новом году, с приходом которого я позволю себе Вас поздравить, смогу чаще посыпать свои известия, а главное — печатать то, что Вы, как никто другой, читаете с интересом и доброжелательством, за что я Вам благодарен, потому что, скажу откровенно, побаиваюсь шолоховедов; знают-то они больше меня в целом, я же только занимаюсь частностями, где, не зная целого, можно и ошибиться, но думаю, что интуиция меня не подведет...

...Дела с памятником Шолохову идут плохо, пока не нашли нового места, попытаюсь уговорить ставить памятник в районе бывшей Тверской, то есть улицы Горького, где Шолохов жил в пору "Донских рассказов", где встречался с Серафимовичем, жил, работая в домоуправлении. И потом, когда наезжал в Москву, — в гостинице "Националь" и "Москве".

С музеем тоже медленно, но есть у меня новые союзники, очень влиятельные...

С Новым годом!

Лев Колодный.

22.12.86 г. (по почтовому штемпелю).

* * *

Харьков, 20.3.1985 г.

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич!

Благодарю Вас за то, что Вы так по-человечески тепло откликнулись на нашу просьбу. Будем надеяться, что статья А. С. Силаева пройдет редакционную апробацию и появится в свет в весьма авторитетном сборнике Вологодского пединститута...

...Теперь о Вашей родословной.

Ваши однофамильцы появились на Левобережье Украины в XVII веке после русско-польской войны, закончившейся воссоединением Украины с Россией. На Правобережье обстановка в течение многих лет оставалась очень сложной: на него претендовали Турция и Польша одновременно. Простым людям жилось в условиях постоянных войн и жесточайшей эксплуатации польской шляхтой очень тяжело, потому они охотно уходили на свободные земли Левобережья (не случайно оно называлось Слободской Украиной). Здесь были свои трудности: часто беспокоили крымские и ногайские татары. Однако, обилие прекрасной земли и свободы (каждаясь) притягивали бедных людей. Украинцев, выходцев из Правобережья, называли черкасами. Итак, первое, что можно считать достоверным, это то, что Ваши предки — черкасы.

Московский царь всячески поощрял заселение дикого поля черкасами. Более того, был издан указ о запрещении переселять русских людей. Это была предупредительная мера против массового бегства русских крестьян, которые к этому времени были закабалены боярами и прочей знатью. Земли получали здесь только солдаты (вот почему в нашей области попадаются и русские села).

В 70-х годах XVII века предпринимается сооружение Новой оборонительной черты против татар, которая в исторических трудах получила наименование Изюмской. Она проходила по линии: Царев — Борисов — Изюм — Балаклея — Змiev — Водолага — Валки — Коломак. Черкас поселяли именно в этих местах, чтобы они (вместе с армией) строили оборонительные сооружения и охраняли южную границу русского государства. В исторической литературе попался мне такой документ: атаман черкасский Яков Черниговец подал челобитную белгородскому воеводе Ромодановскому о том, что он, Яков Черниговец, готов призвать “на государево имя из черкасских зднепровских городов охочих черкас” и построить новый город на татарских

перелазах вниз по Донцу. Энергичный атаман сотнями переселял людей из-за Днепра и построил целый ряд городов (Балаклея, Бишкен, Лиман и др.).

Сейчас фамилия Гура чаще всего встречается в Новой Водолаге, Эмцеве и Коломаке. В Новой Водолаге до сих пор есть село, в котором почти все жители носят Вашу фамилию. Оно вошло уже в черту разросшегося районного центра.

Есть у меня любопытное предположение, почему Ваши предки ушли из этих мест. Казалось бы, хорошая земля, богатая природа, относительная свобода — зачем уходить?

Водолага была вотчинным городом харьковского полковника Григория Донца. Этот полковник был крупным землевладельцем, закабалявшим черкас крепостной зависимостью. Историк отмечает, что в то время это был единственный закабаленный город. Не исключена возможность, что именно по этой причине Гуры перебрались за Волгу.

Фамилия Гура, очевидно, польского происхождения: *gora* — гора, вершина. В польском языке “a” произносится как “у”. На Украине полонизированных фамилий очень много. А русских аналогичных сколько угодно.

Представляет интерес и такой вопрос: где жили Гуры на Правобережье? Если что-нибудь узнаю, — напишу.

Одна наша сотрудница живет в Водолаге, и я попросил ее описать расовые, физические приметы Гур. Дело в том, что *huta* по-румынски — рыбак. А у нас есть и валахи, которых привел в петровское время отец А. Кантемира. Валахи — смуглые. Гуры — белесые и крупные, ширококостные (как выразилась эта женщина). Крупного человека у нас и сейчас сравнивают с горой. Гора — прозвище.

Вот пока все, что могу написать по интересующему Вас вопросу.

Всего Вам доброго. С уважением М. Гетманец.

13.8.1991 г.

Многоуважаемый Виктор Васильевич!

...В течение десяти лет после выхода в свет Вашей книги "Как создавался "Тихий Дон" я думал о том, что случилось с Вами, почему Вы больше не пишете о Шолохове, особенно в последние годы, когда появилась возможность открыто выражать свои мысли.

Давно знаю и ценю Ваши труды. Мне удалось даже получить из России фотокопии "Ученых записок" Вологодского педагогического института с Вашиими статьями об истории создания "Тихого Дона". Не один раз ссылаюсь на Ваши публикации в своей книге "Mikhail Sholokhov and his art", вышедшей в 1982 г. в издательстве Принстонского университета. Если Вас интересует эта книга, с удовольствием вышлю ее Вам.

Я вырос среди донских казаков. "Тихий Дон" — моя любимая книга с отроческих лет. С середины семидесятых защищая в печати шолоховское авторство. Написал рецензию на книгу Д. "Стремя "Тихого Дона", изданную Солженицыным в Париже в 1974 году, и полемизировал с Роем Медведевым, ставящим под сомнение способность Шолохова написать "Тихий Дон". Эта полемика, как Вы, наверно, знаете, была перепечатана в журнале "Вопросы литературы". К сожалению, мне не дали проверить перевод моей статьи, в котором допущено несколько ошибок. Неправильно, например, переведен важный термин "погодный атаман". В редакции "Русской литературы" лежит русский вариант моей рецензии на книгу Д. Никакого ответа от редакции не получил. Теперь научные журналы испытывают большие трудности, выходят с перебоями.

Если у Вас есть что-нибудь новое о Шолохове, скажите, пожалуйста, где оно напечатано...

Желаю Вам всего доброго, особенно здоровья.

Искренне уважающий Вас Ваш Г. Ермолаев.

10.1.1992 г.

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич!

Большое Вам спасибо за новое издание Вашей книги "Как создавался "Тихий Дон" и за Ваше письмо...

Я очень хорошо знаком с первым изданием Вашей книги. Сравнил его со вторым. Кое-где обнаружил дополнения... Интересно, что бы Вы сказали о Солженицыне. Но раз не хотите к нему прикасаться, имеете полное право ничего о нем прямо не говорить. Я очень уважаю его как писателя и твердого борца против строя, который принес столько несчастий России. Но не могу принять его взглядов на авторство "Тихого Дона" и оспариваю их в печати.

Мы с Вами параллельно занимались исследованием исторических источников "Тихого Дона". В этом отношении есть еще много загадок. Вот, например, на стр. 284 нового издания Вашей книги идет речь о боях в первую мировую войну. Перечисляются полки и их номера. Вы пишете, что Шолохов взял этот материал из "Стратегического очерка войны 1914—1918 гг." Я этой книги достать не мог. Шолохов имел обыкновение переписывать исторические данные о боях почти дословно. Вот я и хотел бы узнать, откуда он позаимствовал сообщения такого типа, как "Пошли части 2-й и 3-й дивизий Туркестанского стрелкового корпуса..." Есть ли такие описания в "Стратегическом очерке?"

...Еще в первом издании Вашей книги меня удивило обилие ссылок на исторические источники "Тихого Дона", особенно на эмигрантские. Полагаю, что Вам пришлось немало потрудиться, чтобы раздобыть их...

...Вы, разумеется, видели подборку черновиков и набросков первых глав "Тихого Дона", опубликованных Львом Колодным в "Москве" (1991, 10). Это очень веское доказательство авторства Шолохова...

Желаю Вам всего доброго, прежде всего — здоровья. Пишите.
Искренне Ваш Г. Ермолаев.

Большинство авторов писем к В. В. Гуре и упоминающихся в них писательских имен широко известны, но некоторые требуют пояснения.

Алексеев М. П. — академик, литературовед.

Арбат Ю. А. — писатель, уроженец Белозерска, автор книг о народном искусстве.

Баруздин С. А. — писатель, редактор журнала “Дружба народа”.

Бельчиков Н. Ф. — литературовед, член-корреспондент АН.

Бушмин А. С. — член-корреспондент АН, директор Пушкинского Дома.

Дмитревский Ю. Д. — доктор географических наук, коллега по ВГПИ, живет в Петербурге.

Ермолаев Г. — профессор Принстонского университета (США).

Ильев С. П. — профессор Одесского университета.

Колодный Л. — журналист, автор ряда статей и публикаций о Шолохове.

К. К. — Коничев Константин Иванович, писатель, собиратель фольклора, уроженец Усть-Кубенского района Вологодской области.

Латунов И. С. — секретарь Вологодского обкома КПСС.

Лукин Ю. Б. — первый редактор “Тихого Дона” (Москва), член Союза писателей, автор книги “Михаил Шолохов” (изд. 2-е, М., СП, 1962).

Малков В. М. — директор Вологодского книжного издательства, автор многих краеведческих книг о Вологодчине.

Мацуков Н. И. — крупнейший советский библиограф.

Машовец Н. П. — участник Всесоюзного семинара молодых критиков (Саратов), ныне член Союза писателей, автор нескольких книг.

Муратова К. Д. — крупнейший советский библиограф, профессор (Санкт-Петербург).

Оксман Ю. Г. — доктор филологических наук, профессор, видный пушкинист, архивист, источниковед.

Паперный З. С. — доктор филологических наук, профессор (Москва).

Петухов П. И. — зам. редактора Вологодского книжного издательства.

Пехтерев А. — аспирант В. В. Гуры (Калуга).

Плоткин А. А. — прототип Давыдова, героя романа Шолохова “Поднятая целина”.

Покусаев Е. И. — доктор филологических наук, профессор (Саратов).

СВВ — Викулов Сергей Васильевич — поэт (Москва), уроженец Белозерья, был ответственным секретарем Вологодской писательской организации в первой половине 60-х годов, долгие годы возглавлял журнал “Наш современник”.

Сталь А. А. (настоящая фамилия Мухин) — секретарь Вологодского обкома КПСС по идеологии.



КАК СОЗДАВАЛСЯ “ТИХИЙ ДОН”

(из критических откликов на главную книгу В. В. Гуры)

Первое издание книги В. Гуры об истории создания “Тихого Дона” Михаила Шолохова вызвало значительный интерес в среде литературоведов. Ряд откликов (при некотором сокращении) мы предлагаем вниманию читателей.

Вс. Сурганов. Восхождение к истокам
(“Литературная Россия”, 1 мая, 1981)

Эту книгу можно считать юбилейной. Ибо между нею и первым из многочисленных трудов Виктора Гуры, посвященных шолоховскому творчеству, пролегло ровным счетом три десятилетия. И каждое было насыщено упорными изысканиями: работой в архивных хранилищах и библиотеках разных городов, поездками и хождениями по Донщине, буквально по каждой стежке, на которой могли оставить след шолоховские герои, беседами с теми казаками и казачками, кто так или иначе мог послужить писателю живым прототипом, либо помнил и знал кого-нибудь из них. И еще — год от года все более глубокое вчитывание в шолоховский текст, в каждую строку, включая и черновые. И, разумеется, встречи с самим Михаилом Александровичем...

И вот в год, когда автор “Тихого Дона” отметил свое семидесятилетие, появилась эта работа.

Она стала очень важным пополнением в ряду множества исследований, написанных о Шолохове и “Тихом Доне” на сегодняшний

день. Среди них имеются основательные, фундаментальные труды. В. Гура превосходно с ними знаком, часто опирается на выводы и наблюдения Ю. Лукина, Л. Якименко, В. Щербины, И. Кравченко и других коллег-предшественников, а при случае и дискутирует с ними.

Непростую цель поставил перед собой в числе прочих задач В. Гура. Не первым из шолоховедов предпринял он подобную попытку. Но ему удалось найти, пожалуй, самый верный ключ, позеволивший раскрыть искомые глубинные связи. Он принял в расчет стремительное, прямо-таки богатырское возрастание шолоховского мастерства, тот самый орлиный взлет, который так прозорливо предсказал А. Серафимович в своем предисловии к первому сборнику "Донских рассказов". А также вытекающий отсюда очевидный факт, что не прямую их соотнесенность с "Тихим Доном" следует отыскивать, но именно диалектику восхождения, и притом не только к "Тихому Дону", но и к "Поднятой целине".

"Детали, сверкнувшие в героях донских рассказов, сливались или разъединялись, всегда освещаясь идеей нового замысла, складывались новые характеры... — утверждает исследователь. — Это был не механический процесс буквального перенесения в роман уже подмеченных в рассказах жизненных ситуаций, поступков, взаимоотношений и столкновений героев. В рассказах накапливался, концентрировался тот жизненный материал, те запечатлевшиеся в художественной памяти детали, сюжетные положения и эпизоды, к которым заново обратился писатель в романе".

Ну и конечно, уже здесь, в "Донских рассказах", обнаруживается в изначальных проявлениях блестательное языковое мастерство, развернувшееся в дальнейшем. Здесь "накапливался опыт раскрытия социального и индивидуального облика персонажа через его неповторимо своеобразную речь как важное средство лепки характера. Здесь впервые блеснуло и тонкое, чисто шолоховское, чувство юмора, речевого комизма, ставшего одной из существенных

особенностей писательского облика Шолохова", — справедливо пишет В. Гура, подтверждая свои слова многочисленными примерами.

Так намечаются сразу две очень важные линии исследования, предпринятого В. Гурой. С одной стороны, его занимает процесс возрастаия мастерства: в третьей и четвертой книгах стилистические и языковые огрехи, имевшие место ранее, полностью исчезают. Более того — в каждом новом издании "Тихого Дона" писатель взыскательно и подчас даже беспощадно редактирует первые книги эпопеи, устранивая образы, на которых лежит печать красивости, вычурности, натурализма и злоупотребления диалектными речениями.

С другой же стороны, продвигаясь по следам этой "распашки" в обратном направлении, В. Гура чем далее, тем полнее устанавливает поразительное сходство словесной ткани, особую, только Шолохову присущую манеру письма, которая "роднит" "Тихий Дон" с "Донскими рассказами", даже при всей очевидной неравноценности этих произведений в отношении стилистического и языкового богатства.

Общий результат подобного проникновения в шолоховские тексты весьма значителен — оно во многих деталях показывает рост крупнейшего мастера советской и мировой литературы, зерна его грядущих творческих открытий, формирование повествовательной манеры, психологической прозорливости, первые находки в области портрета, пейзажа, речевых характеристик...

Большой интерес представляет исследование автором "Донщины". Над этим первоначальным незавершенным вариантом романа Шолохов работал с октября 1925 года. К сожалению, рукопись его была утеряна во время войны, а содержание и замысел известны лишь в самых общих чертах. Но многие страницы и даже целые главы, основательно доработанные, "вплавились" в "Тихий Дон". И, опираясь на скучные высказывания Шолохова, на то нема-

ловажное обстоятельство, что в “Донщине” еще не мог появиться Григорий Мелехов (встреча писателя с его прототипом, хорунжим Харлампием Ермаковым, произошла лишь в 1926 году), В. Гура пытается “реставрировать” фрагменты “Донщины” в тексте эпопеи. Разумеется, более всего помогает ему уже установленное стилистическое ее “родство” с “Донскими рассказами”. И он приходит к выводу, что из двадцати одной главы, составляющих четвертую часть “Тихого Дона” (вторая книга), по меньшей мере одиннадцать, с десятой по двадцатую включительно, близки к “Донщине”.

Установление этого факта важно для В. Гуры еще и тем, что позволяет проследить переход типичного для прозы 20-х годов романа-хроники, каковым изначально и была “Донщина”, в новое, высшее качество. Молодой писатель ищет пути к эпическому освоению воссоздаваемой действительности. Именно рождение эпопеи показывает В. Гуру, наблюдая, как ширятся масштабы и содержание замысла, как появляется выполненное многозначительной символики новое название книги, как умело использует и развивает Шолохов принципы и традиции социально-бытового романа, приходя в конце концов к тому единственному, счастливому решению-открытию, которое явило миру “Тихий Дон”.

“Образ народа как решающей исторической силы и образ личности, несущей в себе сложные противоречия своего времени, создают в единстве ту емкую художественную концепцию революционной эпохи, которая разворачивается в шолоховской эпопее”.

Станицы, хутора, шляхи, донские излучины и балки, столь зримо и живописно изображенные в эпопее, далеко не всегда “списаны с натуры”. Особенно это относится к хутору Татарскому, где живут все главные герои “Тихого Дона” и происходит столько решающих событий. Исследователь, объезжая и обходя донскую округу, заинтересованно сопоставляет увиденное с прочитанным, раскрывая разнообразнейшие приемы шолоховского художественного обобщения. Снова вглядывается в трагическую фигуру Григория, включается в споры, связанные с ним, беседует с дочерью Харлампия Ермакова,

пытаясь восстановить подробности его трудной судьбы и черты характера. Привлекает его и фольклорно-песенная, а также бытовая народная стихия, пронизывающая "Тихий Дон" и сообщающая неповторимую поэтическую глубину духовному облику и переживаниям героев. Та же песенность, народная мудрость, речевой строй открываются ему в образе автора-повествователя, в природе и звучании лирико-философских отступлений в "Тихом Доне". Основательно рассматривает он структуру и своеобразие его историко-документального фундамента...

Все это вместе взятое составляет картину, впечатляющую научной основательностью и богатством содержания. Кроме того, книга В. Гуры написана с подлинным увлечением, которое не может не захватить каждого, кто склонится к ее страницам. И потому ее с благодарностью и пользой прочитает и неискушенный читатель, и самый квалифицированный литературовед, всякий, кому близко и дорого творчество Шолохова и судьбы нашей литературы.

**Л. Усенко. "Тихий Дон": рождение впопеи
(*"Литературная газета"*, 13 мая, 1981)**

Если собрать воедино все, написанное о шолоховском "Тихом Доне", получится солидная библиотека. Кажется, давно уже эта великая книга освоена и изучена. И все же интерес к ней не ослабевает, появляются все новые и новые исследования, углубляющие наши представления о шолоховском шедевре.

Книга В. Гуры посвящена важному, но все еще недостаточно разработанному вопросу о творческой истории "Тихого Дона". Впервые к этой теме В. Гура обратился в 50-е годы. От его статей этого времени до известного семинария "Жизнь и творчество М. А. Шолохова" и затем от монографии "Роман и революция" до рецензируемой книги — три десятилетия. Накопление нового материала, архивные разыскания, систематизация мемуарных записей,

встречи и беседы с М. А. Шолоховым — в итоге многолетней работы была создана эта книга.

Ее читателя наверняка заинтересуют многие новые факты и подробности, связанные с трудовой биографией и литературной молодостью Шолохова. В книге щедро цитируются неопубликованные материалы, неизвестные доселе письма писателя, историко-архивные и мемуарные свидетельства. Каждая подробность и деталь такого рода укрепляют историко-литературную концепцию В. Гуры. К примеру, мы с интересом узнаем о том, что молодой М. Шолохов в самом начале 20-х годов был усердным участником литературной студии “Молодая гвардия”, которой тогда руководил В. Шкловский. Но не только эта учеба, а прежде всего богатый личный опыт формировал будущего литератора: “Уже первые его фельетоны шли от жизни, окружающей молодого писателя”.

Большой убедительностью отличается в книге В. Гуры анализ поэтики ранней прозы М. Шолохова, как бы предвосхищающей расцвет его таланта в “Тихом Доне”.

И в лексике, и в метких фольклорных словосочетаниях, и в сравнениях, эпитетах и метафорах, и в речевой характеристике персонажей уже чувствовались неповторимые особенности шолоховской манеры письма.

Центральную часть книги В. Гуры занимают главы, посвященные непосредственно творческой истории “Тихого Дона”.

Шаг за шагом раскрывает автор глубокий историзм романа.

В процессе создания произведения М. Шолохову пришлось проделать огромную разыскательскую работу. С одной стороны, это был скрупулезный сбор фактического материала на местах прошедших событий, в донских хуторах и станицах. А параллельно шла детальная и тщательная работа над историческими и мемуарными источниками. Читая книгу В. Гуры, мы становимся свидетелями того, как факт истории под шолоховским пером обретал новую, художественную жизнь.

Немало интересных и свежих наблюдений заключено и в тех главах книги, которые посвящены анализу шолоховского мастерства. Здесь особенно любопытны экскурсы в творческую лабораторию писателя и сопоставление различных редакций и вариантов текста "Тихого Дона".

Более беглым выглядит, пожалуй, заключительный раздел книги "В работе — печатный текст". О пути "Тихого Дона" от журнальных публикаций к отдельным изданиям хотелось бы узнать более подробно.

В целом книга В. Гуры, несомненно, займет достойное и важное место в современном шолоховедении. Прочитав ее, можно с полным основанием согласиться с итоговым наблюдением ее автора: "Глубинное знание жизни народа, не уступающее знанию диалектолога и краеведа, этнографа и фольклориста, историка быта и нравов вместе взятых, знание, освещенное талантом большого художника, и создает в романе ту "живую жизнь", в которую погружается читатель, забывая о том, что листает страницы книги".

**Вл. Котовсков. В. Гура "Как создавался "Тихий Дон"
(*"Новый мир"*, 1981, № 1)**

О "Тихом Доне", как и о других подлинно великих произведениях отечественного и мирового искусства, написано уже много книг и статей у нас в стране и за рубежом. Но до недавнего времени в литературоведении не было специального исследования о том, как создавался "Тихий Дон". А ведь пятнадцатилетняя история создания этого произведения тоже своего рода роман, где есть свои радостные и трагические страницы, говорящие о мужестве автора. Книга профессора В. Гуры — первая научная, обобщающая все известные на сегодня факты, творческая история одного из лучших романов литературы социалистического реализма.

В. Гура попытался охватить большой круг проблем, связанных с творческим рождением "Тихого Дона", этого грандиозного по

замыслу и воплощению историко-революционного художественного полотна, ставшего важнейшей вехой в развитии советского и мирового искусства. Автор монографии собрал богатейший документальный материал о работе писателя над романом, изучил сложную историю публикации каждой книги "Тихого Дона".

Опираясь на чудом сохранившиеся от военного лихолетья страницы рукописи романа, на его печатные редакции, правки журнальные и книжные, особенно накануне выхода первого собрания сочинений Шолохова в 50-х годах, автор монографии стремится проникнуть в творческую лабораторию писателя, проследить за отбором им жизненного материала, освоением фольклорно-бытовых и исторических источников, за эволюцией замысла, композиционным воплощением его и т. д. Это определило структуру и стиль книги В. Гуры.

Особый интерес в ней, на наш взгляд, представляет не столько обстоятельный историко-хроникальный рассказ о пути создания и публикации "Тихого Дона" (этот путь более или менее известен читателю), сколько самостоятельный подход ученого к анализу печатных текстов романа разных лет, этого своеобразного пути неуклонного совершенствования писательского мастерства. Есть в монографии любопытные страницы, где на основе новых материалов рассказывается об отношении М. Шолохова к редакторской правке, особенно к той, которая делалась порой непрофессионально. Вообще изучение работы великого писателя над текстом различных изданий открывает перед наукой большие перспективы, помогает глубже осмыслить ценный творческий опыт Шолохова.

После 60-х годов сколько-нибудь существенных авторских изменений в "Тихий Дон" уже не вносились. Текст романа оставался стабильным, и вполне естественно, что шолоховеды ставят сегодня вопрос о насущной необходимости подлинно научного, академического издания величайшего произведения современности.

Есть в хорошей, полезной книге В. Гуры страницы, которые вызывают желание поспорить с их автором. Например, о творческих связях, о линиях, идущих от "Донских рассказов" к "Тихому Дону". Да и сам В. Гура не уходит от полемики, охотно и, надо сказать, небезуспешно спорит с некоторыми положениями в работах К. Приймы, А. Бритикова, И. Лежнева, Л. Якименко и других. Однако в целом книга "Как создавался "Тихий Дон"" написана в спокойной, объективной манере, что усиливает наше доверие к авторскому слову. Думаю, что эта работа вызовет интерес как научной общественности, так и широких читательских кругов, влюбленных в лучший шолоховский роман.

А. Крундылев. История "Тихого Дона"
(Нева, 1981, 1)

В своей новой книге известный исследователь творчества М. А. Шолохова подробно останавливается на биографии писателя, его детстве и юности, участии в московских литературных студиях, его творческом становлении, пути от "Донских рассказов" к "Тихому Дону". Он не выправляет и не сглаживает этого пути, показывает движение (именно движение!) к высотам мастерства.

Шолохов родился и вырос на Дону, был свидетелем событий гражданской войны, жил среди своих героев, слышал их рассказы, но, приступая к роману, изучил и множество исторических материалов — научных и публицистических работ, газет, воспоминаний как партийных и советских руководителей, так и белогвардейских генералов, а изображение в "Тихом Доне" Верхнедонского восстания базируется на самостоятельном научном поиске, результаты которого приняты советской исторической наукой.

В книге В. Гуры убедительно показано, как досконально знал Шолохов историю, как осмыслял ее художественно. Интересны произведенные здесь сопоставления исторических работ и соответствующих им мест романа.

Творческую историю "Тихого Дона" В. Гура рассматривает в единстве с идеальным замыслом произведения, показывает многостороннее выражение в романе шолоховского гуманизма, неразрывную связь литературной позиции писателя и его общественной деятельности в тридцатые годы.

В романе художественно трансформировался жизненный материал, зачастую непосредственно связанный с биографией самого писателя. В. Гура, в частности, рассказывает о своих впечатлениях от поездок по шолоховским местам, о том, как углублялись в "Тихом Доне" типы, ситуации, мотивы "Донских рассказов": "Шолохов, опираясь на конкретные явления жизни, на свой опыт и наблюдения, рисовал и тех людей, характеры и судьбы которых запечатлелись в его памяти как характеры и судьбы времени". Но связь персонажа и его "прототипа" диалектически сложна. Характеры реальных людей под пером Шолохова художественно преображались и обогащались.

Обстоятельно раскрыта в книге фольклорная основа шолоховского романа — включенные в текст народные казачьи песни, описание знакомых писателю с детских лет народных обрядов и обычаев.

Подробно останавливается автор на спорах о романе в критике. Они начались, когда Шолохов еще продолжал работу над "Тихим Доном", и становились особенно жаркими, как только речь заходила о finale произведения. Горячий накал боев гражданской войны был тогда еще у всех в памяти, и это определило предельно страстное, "заинтересованное" отношение к судьбе Григория Мелехова. "Характер этот, — замечает В. Гура, — не воспринимался так глубинно, как он был задуман писателем". Проявлялась подчас тенденция упрощенно и прямолинейно истолковывать художественную ситуацию.

Шолохов, и это убедительно показано в книге, невзирая на весьма резкие выпады критики, закончил роман так, как требовала

этого правда избранного им материала: дело не в том, что будет дальше с Григорием, а в том, чтобы читатель задумался над рассказанной художником историей человеческой жизни, глубже понял события минувших лет.

Обстоятельно прослежена долгая и тщательная работа писателя над текстом романа. От книги к книге росло мастерство автора "Тихого Дона", и он не раз возвращался к написанному, с позиций зрелого художника редактировал его. Были внесены уточнения в отдельные сцены и эпизоды, устраниены навязчивые авторские объяснения поведения Григория, по сути повторявшие то, что уже было раскрыто в его поступках и переживаниях. Писатель избавился от встречавшихся в первых редакциях романа элементов сентиментальности, вычурной усложненности, художественно неоправданных "местных речений" и вульгаризмов, натуралистических метафор и сравнений.

В своей книге В. Гура опирается на архивные материалы, выскazyвания Шолохова на страницах газет, воспоминания о нем, немногочисленные сохранившиеся рукописи романа (их основная часть погибла летом 1942 года). Он широко использует наблюдения критиков и других исследователей творчества писателя.

Раскрывая творческую историю "Тихого Дона", В. Гура сопоставляет шолоховский роман с современными ему "Разгромом" А. Фадеева, "Конармий" И. Бабеля, "Железным потоком" А. Серафимовича преимущественно в стилистическом ключе, а не в плане своеобразия подхода Шолохова к теме гражданской войны. На этот счет он ограничивается лишь беглыми замечаниями общего характера. Стоило, однако, обратиться и к другим произведениям о гражданской войне — особенно если вспомнить, что эта тема была ведущей в советской литературе двадцатых годов. Интересно было бы выявить и новаторство Шолохова в изображении донского казачества, рассмотрев для этого не только "вершинные" явления литературы (Чехов, Тренев, Серафимович), но и произведения

“массовой беллетристики” об Области Войска Донского, в частности, очерки и рассказы Ф. Д. Крюкова. Это тем более важно, что в двадцатые годы получило широкое распространение представление о “донской Вандее”. Автор же “Тихого Дона” показал, что казаки, пусть по-своему, но тоже тянулись к новой жизни. Представляется перспективным и анализ раскрытия в “Тихом Доне” темы первой мировой войны в сравнении с тем, как ее изображали другие советские писатели. Хотелось бы найти в книге, наконец, соотнесение “Тихого Дона” с русской классической и мировой литературой (В. Гура ограничился только указанием на близость негативного изображения войны у Л. Толстого и Шолохова и отличие “Тихого Дона” от литературы “потерянного поколения”).

Есть в интересной книге В. Гуры и отдельные спорные положения. Неубедительным выглядит сопоставление Шолохова и Бабеля. Представляется искусственным “разъединение” Кошевого и Нагульного, варьирующих все-таки один общественный и психологический тип. Несколько упрощенно представлены искания советской прозы 20-х годов в области формы и их отражение в первой книге “Тихого Дона”.

Завершая книгу, В. Гура пишет: “Уже сегодня возникает насущная необходимость подлинно научного издания романа с обстоятельными текстологическими, реальными и другими комментариями”. Хочется думать, что наш читатель получит такое издание “Тихого Дона” — лучше всего в серии “Литературные памятники”.

С. Тимина. Мир Шолохова и современность (Звезда, 1981, 3)

Судьба творчества М. Шолохова удивительна и неповторима. Созданный им художественный мир раздвинул рамки современности, вошел в наше сознание своей обжигающей истинностью, стал неотделимой частью нашей жизни — прошлой, настоящей, будущей.

Споры о книгах Шолохова — это споры о сегодняшнем и вечном, о том, что волнует поколения людей нашей эпохи. В то же время — это споры и раздумья о сугубо личном, о том, что касается индивидуальной судьбы каждого отдельного человека. В спорах этих формируются новые поколения людей.

Необычность шолоховской судьбы и в том, что уже в период творческого расцвета писателя наука, посвященная исследованию его произведений, вышла к принципиально новым направлениям. Они связаны как с постижением глубин и эстетических тонкостей писательского мастерства, когда дается скрупулезный анализ той лаборатории, где проявляется талант, так и с обобщением опыта Шолохова в смысле его влияния на мировой литературный процесс или воздействия школы Шолохова на советскую литературу.

Книги о Шолохове, созданные в год его 75-летия, несут в себе именно эти тенденции. В них сочетаются острота современного прочтения произведений писателя и фундаментальность литературоведческого исследования.

Название книги В. В. Гуры сразу привлекает к себе внимание как специалиста-филолога, так и просто любознательного читателя нашей “одной из самых читающих стран мира”: “Как создавался “Тихий Дон”. Творческая история романа М. Шолохова” (изд-во “Советский писатель”, М., 1980).

Для того, чтобы могла быть создана такая книга, не повторяющая ни одной из работ о Шолохове, охватывающая важнейшие проблемы творческой истории шолоховского романа, необходимы были годы накапливания объективного материала, без которого изучение закономерностей творческой истории “Тихого Дона” состояться не могло.

Одно из главных условий текстологического изучения такого монументального произведения, которое создается художником почти полтора десятилетия, а затем — совершенствуется, редактируется, уточняется, дополняется, заключено в том, чтобы процесс работы

над романом был завершен в своих главных параметрах. Исследователь должен охватить его во всем многообразии динамики, с одной стороны, и в идейно-эстетической целостности — с другой.

Автор книги говорит в предисловии о том, что ее созданию предшествовали проведение архивных разысканий, систематизация мемуарных записей, изучение биографических материалов. Естественно, что речь идет о собственном участии в этих поисках и о "багаже", накопленном Шолоховедением, без чего обобщения в области творческой истории не носили бы столь широкого характера, как это заявлено самим названием книги Гуры.

И, наконец, создание книги, проникающей в творческую лабораторию писателя с опорой на текстологические принципы анализа, стало возможным именно в последние десятилетия, когда опыт изучения творческой истории произведений советской литературы, аппарат и методы текстологического исследования достигли уровня, достаточного для охвата столь многомерных, масштабных произведений, каким является роман Шолохова "Тихий Дон".

По крупицам, шаг за шагом, автор книги в острой и увлекательной форме восстанавливает перед глазами читателя полный динамики жизненный и творческий путь писателя, ведя нас от произведения к произведению, от главы к главе, а подчас к отдельной строке, как бы воссоздавая в ретроспективе громадное полотно, смысл которого сформулирован словами одного из первых редакторов книги М. Шолохова Ю. Лукина: "Творческая история романа "Тихий Дон" — это путь неуклонного и упорного совершенствования писательского мастерства". Именно так: не только чудо, гений, феномен, а упорство и труд.

В книге убедительно показано, как писателю для освещения сложнейших событий необходимо было не только описать их фактически, не только, обратившись к архивам и немногочисленным трудам современных историков, увидеть их всесторонне, но и по существу дать ответственную историко-политическую оценку смыс-

ла и характера ряда важнейших фактов, в частности, причин восстания на Верхнем Дону.

Страницы книги Гуры, посвященные изучению колоссального исторического материала, до Шолохова еще не освещенного нигде, и творческих принципов писателя, овладевшего этим материалом с позиций историзма и вводящего его в образную ткань повествования, — фундаментальная и убедительная часть этого труда.

При этом именно на уровне современной литературоведческой мысли Гура подвергает анализу сложный механизм взаимосвязи и взаимопроникновения безупречно точных исторических фактов, введенных в роман Шолохова, с художественным вымыслом.

Книга "Как создавался "Тихий Дон" имеет как общую, объединяющую ее научную концепцию, так и своеобразный исследовательский сюжет, который придает книге серьезное достоинство: читатель оказывается вовлеченным в ход, логику, динамику этого исследования и проходит его с интересом от начала до конечных выводов.

Смысл этого сюжета в следующем. Еще в 30-е годы, в процессе создания романа Шолохова, Веру Кетлинскую в ходе беседы с писателем крайне удивило, что "писатель живет одной жизнью со своими литературными героями, когда живой "материал" ходит вокруг него, пьет чай за его столом, обсуждает с ним свои заботы и планы".

Такого рода феноменальное явление, когда автор творит произведение на основе жизни, прожитой с героями своих книг, становится центральной линией исследования Гуры. Помимо этого важного для текстологии фактического материала (достоверные факты, географические реалии, подлинные имена и события), Гура в сюжет исследовательского повествования вводит свои личные встречи, контакты, экспедиции по местам событий "Тихого Дона". В книге возникает увлекательная перекличка истории и современности. Рассказ о судьбах предполагаемых прототипов Григория Мелехова

сопровождается описанием беседы автора с Пелагеей Харлампиевной Ермаковой, воспоминания которой так заманчиво посчитать рассказом о Мелехове, — и шашку брал в бою в левую руку, и вспыльчив, и горбонос, и казачка-красавица в его судьбе была, и метался между белыми и красными, и кончил трагически.

Исследователь хочет дать современному читателю осязаемое ощущение реальных связей шолоховского повествования с ходом истории, который, начавшись давно, не прерывается и в наши дни.

Гура опросил двадцать жителей хутора Татарского. В беседе с ними он выяснил, что многие из них не только введены в роман, но и сохранили в романе свои подлинные имена. Диалоги с ожившими героями сопровождаются взволнованным комментарием исследователя: “Жадно вглядываюсь я в лица этих людей, вслушиваюсь в их речь, улавливаю знакомые оттенки, как у тех близких, которых когда-то хорошо знал, но давно не встречался с ними”.

Так смыкаются жизни и творчество, история и современность — это удивительное соединение служит в книге о творческой истории “Тихого Дона” свидетельством того, что историческое жизнеописание пропущено через личные судьбы людей, что правда жизни народной и правда личной судьбы писателя неотделимы и существуют как неразрушимое целое.

Гура проявляет большой исследовательский талант в своих сопоставлениях, рассуждениях о реальных прототипах, жизненных судьбах людей, так или иначе связанных с шолоховским повествованием. Он избегает “лобовых” обобщений и выводов, стремясь к полноте аргументаций. Так, в книге рассматривается интересная система доказательств близости к характеру Григория Мелехова ряда реальных прототипов, одного из которых, хорунжего Харлампия Ермакова, писатель вводит под его собственной фамилией как помощника Григория Мелехова.

Как под инструментом реставратора картины, в тексте романа, благодаря текстологическому восстановлению всех его “слоев”,

возникает картина самого творческого процесса, позволяющая наглядно определить меру и значимость писательских усилий в работе над текстом.

Так, например, с помощью рукописей “Тихого Дона”, впервые вводимых в научный обиход, Гура демонстрирует, как постепенно в самом тексте рождается один из самых ярких трагических образов романа — образ черного неба и ослепительно сияющего диска солнца, которые увидел Григорий в момент гибели Аксиньи.

Интерес к фактам, опора на них характерны для Гуры как для ученого. Гура не только обобщает многие материалы по творческой истории, но значительно и существенно расширяет площадку исследования за счет широкого вовлечения в свой анализ рукописей романа, которые с июня 1975 года переданы писателем на хранение в рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский дом).

Творческой истории “Тихого Дона” около полувека. Сложные судьбы, описанные в романе, воплотили в себе конкретно-исторические особенности бурного времени.

Каждое поколение читателей и исследователей ищет свои ключи к этому великому роману. Полнота и объективные методы историко-литературного и текстологического принципов изучения истории этого многогранного произведения, продемонстрированные в книге Гуры, помогут новым поколениям читателей 80-х годов увидеть не только результаты, но и проследить сам процесс художественного творчества, чтобы осознать значение вклада, который внес Шолохов в мировую художественную культуру.



ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

На письменном столе Виктора Васильевича рядом с научными статьями и критическими рецензиями всегда лежали другие рукописи, составлявшие заметки исповедального характера. Он писал их скорее для себя, нежели для других. Разумеется, как у любого автора, в глубине его души жила надежда увидеть все это напечатанным не только на машинке. Но он не торопился с изданием, относясь к написанному как строгий и требовательный судья. Вот почему эти страницы видят свет впервые. Представляя сие читателю, составители книги надеются, что этим значительно дополнят сказанное о писателе. Ведь сам-то он знал о себе, конечно же, больше, чем другие.

Публикация И. В. Гура.

ВЕРЬКИНО ДЕТСТВО

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Александр Блок

Родился в рубашке

С самого детства Веря Горушкин знал про себя, кажется, все или почти все, что полагалось знать такому мальцу. Он почему-то рано перешагнул через привычную детскую любознательность. Никто не скажет, когда это случилось, но радость познания сморила, как сон, обволокла таинствами, загадками и уташила в зыбкую неизвестность.

Будто бы и не спит Веря, а смежит понарошку веки, зыркнет сквозь розовые реснички и перед ним тут же возникает взбудораженный, перевернутый вверх тормашками, осиянный солнышком мир. И все здесь как в сказке, и все такое, как хочется, как взглянется: то сплошной, занесенной песком улицей встают взправдашные, серые от старости дома, где живут дряхлые, изношенные трудом люди, то вдруг — чистенькие, весело расписанные диковинными павлинами, петушками, незатейливыми цветочками хатки, целые ряды таких хаток, а меж ними разгуливают, пощелкивая семечки, праздничные,

приветливо улыбчатые люди, даже не совсем обычные люди — богатыри в свитках. Все тут переливается радостным многоцветием, и эта благоуханная утренняя свежесть, этот свет детства, его почти беззвучный мир, — все это радостно и всегда обещает новые радости.

Небесное светило заглядывает в голубизну распахнутых для познания мира глаз, подрагивают реснички, защищаясь от слишком жгучего вторжения лучей, и все-таки пропускают их, а с ними и все мироздание входит в тебя, растекается по существу твоему. Вокруг — весь белый свет, а в середине — ты сам, его дитя.

Веря считал, что он-то уж на белом свете был всегда, можно сказать, вечно, — и никто не мог его разубедить в этом. Он каждый день узнавал этот белый свет все больше и оттого еще прочнее утверждался на бесконечной, щедро прогретой солнцем земле. Ему казалось даже, что он находится в самой золотой середине радостного голубого мира, для него словно бы и созданного. Во всяком случае, солнце всегда стояло над ним, палило в вихрастую макушку, а Веря, как подсолнух, поворачивался к солнцу золотистой головой, слегка щурил небесно-голубые глаза и, расплываясь в улыбке, показывал всему миру круглое, румяное лицо, усыпанное конопатинами. Словно семя в подсолнухе, они густо зарождались у переносья и разбрызгивались по всей окружте рыжими ляпами. Сколько раз травил потом Веря конопатины всеми доступными домашними средствами, чуть ли не тертым кирпичом, но разве природу переделаешь?

Единственное, пожалуй, чего Веря не ведал в точности, это — как рождаются на белый свет дети. Даже я, зная Верю почти с самого рождения, не мог ему ничего объяснить, потому что имел в то время противоречивые, явно не научные сведения. То рассказывали какие-то сказки, — принесли, дескать, Веремея гуси—лебеди, то говорили, что нашли его голенъким на большой лопушине. Вот только в рассказе этом сразу же была явная неточность. Мама хорошо помнила, что Веря родился в рубашке. Иногда, правда, совсем редко, она брала его на руки, прижимала к себе и сладко напевала про прошлое, загадывала на будущее:

— Веря наш в рубашке родился. Вырастет наш Веренька — счастливенъким будет...

Но Веря не любил, когда его тискали-пичкали всячими небылицами. Он рвался на волю и с облегчением вздыхал, обретая самостоятельность. Малыш еще не знал, что значит быть счастливым, но таинственно затихал, когда вспоминал о том, что ему на роду писано. Может быть, поэтому любил он еще и свою расшитую красными петухами рубашонку, с мелкими, круглыми, как горошины, пуговицами по вороту. Очень хотел подтверждения, что в этой рубашонке он и появился на свет:

— В такой, да? В красной? С петушками?.. Хорошенький, счастливенъкий?..

И мама вспоминала, что родился Веря в жаркий июньский полдень. Лето в тот год начиналось стремительно. Принесло так, что голова кружилась, и она оступилась во дворе, едва не выронила мальчонку на горячий песок. А когда очнулась, увидела сына и застонала: головенка у него вытянутая, желтенькая, как бобушка, с белым пушком, а лицо розовенькое, сморщенное, как у старика.

Любознательная соседка-попитуха сняла распашонку, заглянула, куда полагается, и тут же ни за что ни про что отшлепала так нечаянно появившегося на белый свет раба божьего Веремея. Ни в чем не повинный мальчик кровно обиделся, крепко стиснул десны, разрумянился до крайности, но некоторые признаки горько начатой жизни все-таки проявил.

Говорят, полагается в таких случаях орать во всю басовитую мужскую мощь, но ребенок только сучил ножками, хватал себя за нос, рвал уши, а потом крепко сжал ручонки в кулаки, словно молчаливо грозил этому миру отомстить за вопиющую несправедливость.

Ничего не поделаешь, так начинается жизнь. Верю обмыли, туто запеленали, и тут, расслонявшись, вякнул он, может быть, что-то радостное, а скорее всего обидчивое. Кто же поймет дитя неразумное? Но попитуха живо зашамкала беззубым ртом:

— Вот и зашветили парнишку. Шустрый буде парнишка, уж
больно торопився на свет божий, аж перевився... Ишь, губошлеп,
обидчивой...

У Вери уже не было сил отвечать. Ему, смирительно запеленутому, ничего не оставалось делать, как оправдывать предсказания старших всей своей с рождения притесненной жизнью. А старшие, что с них взять? Занятые своими делами, они частенько забывали про Верю, оставляли в одиночестве, и он просыпался в мокрых, совсем неуютных пеленках и, не теряя сил на бессмысленные призывные клики, безмолвно изучал бездонное небо распостертое над ним вечного мира.

Дети в то время не были такими умными, какими растут теперь, и о том, что стало ныне явью, они даже не догадывались, но страсть к познанию всего сущего остается, видно, неистребимой во все времена.

Кто знает, может быть и Верька не так уж бессмысленно и во всяком случае не бесследно для себя, тихохонько, совсем задумчиво следил за ажурными, белесыми, насквозь пронизанными солнцем облаками, а они упывали куда-то далеко-далеко, скорее всего в иные миры. Уже тогда, быть может, видел Веря эту вечность над собой, отраженную в дальней голубизне неба. Плескалась так и Волгаматушка родная, хотя и не такая большая и разливанная, как теперь, но вечно великая и щедрая. Прильнули к ней древние и дикие заволжские степи, тонувшие в далекой дымке все той же неизвестности. Небесно-нежная голубизна одинаково крепко и ласково обнимала их — степи и Волгу, соединяя навечно. Солнце калило их щедро, волжская волна набегала на окраинные песчаные буруны, а горячо дышавший со степи ветер шутя играл с волной, лохматил белопенные гребешки, и они весело сбегались к берегу...

Когда Веря появился на белый свет, папы при этом не оказалось дома. Папа служил в Красной Армии, в Царицыне. Мама однажды как-то решительно собралась и поехала к нему на пароходе показывать сына, порадовать солдата. Обо всем этом Веря знает понаслышке, даже я этого не помню.

В родную свою слободу, возвеличенную уже в город, отец вернулся в ладно сидевшей на нем военной форме, с красной звездой на буденновке, и сразу подружился с Верой, а Царицын вскоре переозвали, стали величать городом Сталина, — Сталинградом, — и сам вождь скромно согласился с этим. О многом Вера даже не догадывалася, но отец, любивший слободу и не имевший своего угла в ней, потянулся к этому еще совсем недавно захудалому уездному городишке, выраставшему на исторически остром сближении Волги и Дона и на завязанном здесь узле сбегавшихся многих дорог. Вера больше всего радовался возвращению отца с гостинцами... Потом уже на исходе крестьянского “великого перелома” отец сгреб разраставшееся семейство, терпевшее от голода и нужды, и вместе со скучными узлами перевез в Царицын, чтобы строить тракторный гигант...

После женитьбы отец Вери все время ждал сына, — крестьянин всегда видел в наследнике выход из нужды, но Бог дал дочь да еще в самое голодное время, и она не выжила. После нее родился сын, но и он не оказался долгожителем... Вера первым ухватился за жизнь цепко, она ему нравилась, и он начал жить весело и радостно.

Отслужив свое и даже прихватив какое-то время сверхсрочно, молодой счастливый батя возился с сыном в охотку, выгуливал улыбчатого малыша на людях, лялякал и уткался с ним. Счастливому папаше общение с сыном доставляло много радости, и Вера разделял с отцом эту радость, — такую живую взаимную тягу нельзя не понять, и сын незаметно пронес это чувство через всю жизнь, но трогательные отцовские переживания оценил по-настоящему значительно позже...

Что-то в этой тяге наладилось, может быть, и не в самый первый приезд отца из Царицына, а скорее всего какое-то время спустя, когда Вера уже топал на своих двоих... Порвав с не очень-то осознаннымиисканиями в слишком опасно перевернутых, почти совсем потусторонних мирах, Вера расширил свои познания на гречной земле. Норовя удрать со своего тесного подворья, он начал изучать

соседние дворы, интересоваться окрестностями, а вскоре нашел и выходы на бойкую Мостовую улицу...

Во дворах соседских ничего примечательного не оказалось, да и пробраться в них было не так просто. Куда ни кинется Веря, — везде глухие заборы, свой отгороженный от соседа мир. Основательно упершаяся в четыре каменных угла хата и та слепой безоконной стороной, забранной шпунтовым тесом, поворачивалась к соседу. Рубленый хлебный амбар торцом — в ту же сторону. Постройки для живности, крытые навесы, летние кухни с погребами — все это не лицом к соседу, а спина к спине, чтобы не видели вялой, однообразной жизни.

Многое все-таки и сближало соседей, прежде всего — наличная живность: то залает, зарычит, прозвенит цепью, укрепленной на звонко натянутой через весь двор толстой проволоке, выдрессированный на пожизненную охрану кобель, то дико завизжат коты и стремительно взлетят на крыши, не разбирая где своя, а где соседская, хотя за такую неразборчивость можно и чуркой по башке получить; то заблеют овечки в катухе, то тихая безропотная коза даст знать о своих семейных неблагополучиях и притязаниях престарелого бородатого козла да еще вдруг перекинутся мирным ржанием застоявшиеся лошади...

Совсем недавно шла здесь, в слободе и хуторах степных, выморочная, не щадившая ни отцов, ни детей гражданская война; истреблена была вся наличная живность. Вслед за разорительной войной наступил невиданный мор на людей. Они бежали с этих краев на все четыре стороны, куда глаза глядели, падали на ходу, умирали с голода. Даже сурских не оставалось в степи — все подчистую съедали люди. Падала скотина ели и падаль, но тут же налетало воронье и норовило сначала исклевать склоненные над падалью головы совсем истощенных людей...

В иссушенных, долго совсем ничего не плодивших степях за Волгой едва теплилась, горячечно тлела жизнь. Лишь на пятый

после революции год бежавшие слобожане начали возвращаться на родину из далекого хлебного Ташкента, рыбных ватаг Каспия, нефтяных промыслов Баку, вместе с выжившими родичами запрягались в плуги и бороны, заново и трудно обзаводились скотом, возрождали жизнь, как на пепелище, но жили теперь угрюмо и одиноко, не доверяя друг другу, закрывшись на прочные, кованые в кузнях крючки, щеколды и задвижки, хитрые амбарные замки. На открытых углах подворья появились чуть ли не сторожевые башни со смотровыми щелями, с заостренными кольями в заборах, с набитыми по верху гвоздями...

Как же тут мальчиконке пробраться к соседям, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на их потаенную жизнь, разве что подрывать заборы вслед тяжелевшим в весе свиньям? Но Веря и тут находил свои выходы: то сучок в доске выдавливал, то расширял доступными ему средствами едва наметившуюся щелку между досками, то забирался по лестнице на сенник, открывал запыленное слуховое окно, и мир становился значительно шире.

При взгляде через выдавленный сучок, через щель в поле зрения что-то попадало, но детали угасали, люди казались какими-то мелкими, суетно далекими. Не стоило, кажется, и забираться высоко на сенник, чтобы убедиться, как скучно живут они на земле.

Ничего в сущности интересного Веря не открывал для себя, но стоило бросить взгляд чуть выше, как мир вновь ожидал, жить в нем становились интересней. Нет, не только к земле гнули спины люди, но и рвались в небо. В тот солнечный день перед глазами Вери над салями и амбарами открылись сказочно уютные голубятни с балкончиками и кормушками, у которых парами ворковали красивые птицы в ярком оперении с нежными красными лапками. А в небе купались кем-то запущенные турманы — кувыркались, комочками падали вниз и вновь взмывали в небо.

Как завороженный, наблюдал Веря за голубями, только и вертел головой из стороны в сторону — такое дивное зрелище предстало

перед ним впервые. Тут и уснул он, утомленный виденным и разморенным солнцем, разбросав руки по сену. А когда Веря приснулся, чистенький голубок сидел на створке окна, чистил клюв, прихорашивался и приятным грудным воркотаньем звал подругу...

Не забыть Вере и тот день, когда отец взял его на ярмарку, и мир раздался еще шире. День этот был большим праздником для всех, и Веря выходил на улицу с отцом не через калитку у ворот, а через парадное крыльцо. Тут же, у самой казенки, по обе стороны идущей из степи широкой улицы Мостовой раскинулись лавки, палатки, становья морожениц, торговцев леденцами с петушками на палочках, длинными конфетами в пестрых обертках, столы с напитками, лотки с халвой, пряниками и вафлями, разными восточными сладостями... Чего тут только не было — глаза разбегались. Но самое интересное, как вскоре выяснилось, было впереди, в центре празднично нарядной, шумевшей в торгах и веселье слободы.

В эти праздничные ярмарочные дни мама торговала обычно почти у самого дома мороженым и всякими дешевыми сладостями — обучилась “сладкому делу” чуть ли не в детстве на шоколадной фабрике в Камышине. Запаслись у нее петушками на палочках и двинулись в гущу ярмарки, на Никольскую площадь.

Отец усадил Верю на шею, и видно было сыну с этой высоты, как с каланчи. Прошли мимо казенок, колесных и кузнечных рядов, богатых съезжих дворов, рубленых образцовых школ у самого Успенья с красивой каменной оградой и вышли к главному в слободе большому мосту с железными перилами, каменными быками. За мостом этим начинались лавки с пестрыми вывесками, всякие мастерские, парикмахерские с размалеванными картинами на раскрытых оконных ставнях и дверях, с лихими письменами: “Стрижем, бреем, завиваем, в наше кресло приглашаем”... И еще что-то в таком же духе папа читал Вере — призывные объявления, хвастливые рекламы...

За небольшим поворотом при встрече с Царевской улицей у самой красно-кирпичной, выложенной узорами амбулатории Мосто-

вая тянулась уже сплошными купеческими белокаменными двухэтажными домами с бакалеей, галантереей, колониальными товарами — на первых этажах, керосиновыми лавками и тесными низами мастерового люда — в полуподвалах, а поверху — фигурные балконы, обнесенные затейливым литьем. Повсюду — железные крыши с дымниками на трубах, с украшенными находчивым жестянщиком узорами дождевых стоков, меж домами — массивные кирпичные ворота с железными створками и глухими калитками, на задах — высоченные заборы из тесаного камня.

По правую руку шли хлебные ряды, башкировские магазины с иноземными товарами до самого большого торгового дома “Алтухов и сыновья” с огромным угловым балконом и остроконечной башней над ним. По левую руку уже по Астраханской улице — еще целый ряд на века строенных купеческих домиц с высоко задранными окнами, а чуть выше — вознесенная бугром, увенчанная смотровой вышкой управа да облепившие ее, вытянутые к реке службы — полицейская, белый острог, пожарная команда — одни упраздненные, другие приспособленные. Нынче здесь — городская и уездная советская власть.

В самом центре площади — красивейшая во всей округе Никольская церковь с каменно-узорными пристройками — вокруг широкого купола головастые башенки с блистающими крестами, стройная колоколенка, уютные поповские дома — и все это обнесено с четырех сторон света каменной изгородью и утопает в акациях...

Через площадь, дворами к Воложке, к рыбным и мясным рядам с глубокими, заправленными льдом подвалами, а окнами, полыхавшими на солнце, как зеркала — к степи стояли высокие белокаменные дома знатных за Волгой купцов, а при них тут же — пекарни, булочные, кондитерские, гостинный двор с ресторацией, чайные...

Когда выходили на эту площадь, Веря уже снова поднялся на отцовские плечи и замер от невиданного зрелища, от бурлившего людского половодья. Ярмарка кипела людьми, звенела, гудела, пела,

кричала, зазывала на все голоса, во всю свою звонкую, стихийно нараставшую радость. Вдоль всей площади густо стояли пестро разукрашенные ларьки и легкие лавочки, заваленные товарами ряды и свежеструганные прилавки, а в самом центре — всякие зрелища: карусели под крышей, качели-лодки с раскрашенными дебелыми русалками на бортах, театральные вертепы, иллюзии, кривые зеркала, цыгане с медведем, гадальщики с попутаями — чего тут только не было, как только не тащили деньги у прижимистого мужика...

Напротив управы и ее служб — Веря так и ахнул — огромный цирк под полотняным куполом, предмет давних увлечений отца, а вокруг щиты с огромными буквами — “Поддубный — Лурих”, ниже красками намалеваны сцепившиеся в борцовской схватке два огромных мужика. Верька понял, что с отцом это препятствие не обойдешь, не объедешь и решил, когда пробрались к билетной кассе и взяли билеты, добиться тут же своей выгоды, — потянул отца к балаганам со всякими игрушками-доспехами и вооружением на все возрасты...

Наш пострел, как говорится, и тут поспел: еще в Царыцине приметил у ребят постарше оловянные пистолеты с тугими пыжами — пробками. Заветная мечта кажется становилась явью — вот они на прилавке слободской ярмарки. Понимал про себя Верька — маловат для такой редкой дорогой игрушки, — почти настоящее оружие, но все-таки надеялся, что отец, в ожидании заманчивого зрелища, схватки знаменитых борцов, не устоит перед Верькиной просьбой, разорится на радостях...

Не тут-то было! Отец решил, что оружие — слишком грозное и, долго не раздумывая, отказал сыну. Веря насупился, сквозь веки поглядывал за отцом, но даже хныкать не стал, понимая, что на всякие другие подарки тот не поскупится. Так оно и случилось. В руках воинственного Веря оказался пистолет с бумажными пистонами и вполне приличное ружье с деревянным прикладом, железным стволом, куда вставлялся точеный деревянный шомпол с резиновым наконечником-присосом.

Верька тут же устроил пистолетик на пояс, повесил ружье за спину и веселенький замаршировал рядышком, придерживаясь на всякий случай отца, чтобы не потеряться в толпе. До начала цирковых представлений успел перестрелять большую часть приложенных к пистолетику бумажных пистонов, — они громко щелкали, вонюче дымили, но иногда к великой мальчишеской радости вспыхивали огоньком и тогда казалось, что в твоих руках настоящее оружие...

Когда поднялись чуть ли не под самый купол цирка, Веря забрался к отцу на колени, снял ружье и обеими руками прижал к себе — уже предвкушал, как постреляет из него, придя домой. С восхищением следил поначалу за воздушными акробатами, за непонятными движениями шустройших фокусников. Жалким и смешным показался рыжий дядя — клоун. Били его чем попало, кому не лень били, а он каждый раз с грохотом, но расчетливо падал, и все смеялись над ним.

В цирке становилось душно, Верю совсем сморило, и во сне видел он себя милиционером, вооруженным до зубов, в белой матерчатой каске, какие носили в Царицыне, когда милиционера ставили на площадь, и он указывал полосатой палочкой кому когда и куда идти. Сам Верька стоял теперь в родной слободе у входа в настоящий цирк с пистолетом на боку и ружьем за спиной. Без всяких билетов пропускал одну за другой стайки ребятишек со своей улицы, но цыгана с медведем, перед которым все расступились, никак не пропустил. Цыганский мишка зарычал на Верю-милиционера, но Верька так засвистел в настоящий милицейский свисток, что сам проснулся: на арене оказалась пара цирковых медведей, но цыгана при них что-то не было видно. Веря удивился, как они туда пробрались и не двоится ли у него в глазах...

Перед выходом борцов на арену играла бравурная музыка, а когда борцы вышли, зрители впереди и сзади поднялись со своих мест, хлопали в ладоши, приветствуя любимцев. Со всех сторон раздавались крики:

- Слобожане с тобой, Поддубный!
- Лурих, не дрейфь!

— Пусть победит сильнейший!

— Самый сильный! Поддубный! Ура Поддубному!

Вскочил и отец да так резко, что едва не уронил Верьку на стоявшего впереди здоровенного детину, — широченная спина его заслоняла арену. Зажав сына в коленях, отец хлопал азартно, кричал и, судя по всему, был за Поддубного. Разглядеть что-нибудь в такой суматохе было невозможно, но когда отец поднял Верьку на вытянутых руках над передним детиной, задние защищали со всех сторон. За время этого вознесения Веря успел заметить на арене двух полураздетых мужиков, один из которых — коренастый любимец отца — Поддубный, а другой — Лурих, выше, крупнее, грозная мускулистая куча. Мирно стояли они по сторонам, кланялись зрителям, пожали друг другу руки и тут же схватились и пошли таскать один другого по арене, никак не поддаваясь, — то один оказывался внизу, но выворачивался как-то подминал верхнего, то все менялось, но победы не было ни на чьей стороне, каждому не хватало самой малости, чтобы победить в переменчивой схватке.

Скоро такая возня надоела Верьке, да и не все видел он из того, что творилось на арене, — лишь в появлявшуюся ненадолго щель между широкоспинным детиной и его юрким, сидевшим, как на углях, соседом мелькали разгоряченные, потные тела борцов, каждый из которых норовил цепко ухватить соперника, но пальцы скользили и соперники теряли друг друга. Тогда куча шла на кучу, давила всей своей массой; но случалось так, что снова расходились...

В цирке стоял сплошной гул, недовольство зрителей нарастало. И вдруг после небольших перемен цирк ахнул и замер в тишине, словно никто не ожидал такого конца: Поддубный оказался распластанным на ковре, прижатым на обе лопатки. После этого борцы трудно поднимались на ноги, тяжело дышали, а судьи объявили победу Луриха... Что тут началось — и свист пронзительный, и ногами топали, и крики дикие разрывали цирк:

— Сговор був, був сговор!!!

— Купылы Пиддубного, обманом взялы!!!

- Ще николы нэ бачив я, шоб Пиддубный лягав на лопатки!
- И Лурих хорош, силища!
- Об-ма-а-а-нщики!!!

Больше всего сходились на том, что сговор состоялся, а "гроши" поровну будут делить, — не было правды на свете и никогда не будет.

Отец возвращался домой в расстроенных чувствах, будто и ему нанесли поражение. Как и многие слобожане, посчитал он себя обманутым, но всю дорогу не доверялся сыну, помалкивал, и Верька не мешал ему переживать, а про себя думал: разве могут люди тайно сговариваться, чтобы обманывать других людей, богатеть на этом обмане. Нет, этого он не мог понять, доверительно прижимаясь к отцу, и отец потеплел, приласкал, потрепал его за плечо.

Перешли мост, начали подниматься на взгорье, и Веря вспомнил о своей, приглушенной огорчениями отца, радости, об отцовских подарках вспомнил, и думал уже о том, как выйдет с ружьем на улицу, как соберется вокруг него соседская детвора, как нарисуют на заборе мишень, как даст он пострелять ребятам и расскажет еще, что видел на ярмарке...

К вечеру так и случилось, когда досыта натренировавшись во дворе, Верька вышел на улицу. Его тут же окружили, с завистью поглядывая на ружье — настоящее, фабричное, висевшее за спиной. Рассказ о цирке никто не захотел слушать, не нуждались и в Верькиных объяснениях, как надо стрелять.

Ружье со спины содрали чуть ли не вместе с головой хозяина, мишенью избрали калитку Верькиного дома и стали всовывать в ствол шомпол с резиновым наконечником и бить по калитке. Следующий стрелок бежал к цели, отрывал причмокнутый наконечник и снова лупил по калитке. О Верьке забыли, словно его и не было тут, никто и не предлагал ему пострелять из его ружья... Сначала лопнул резиновый наконечник, и деревянный шомпол уже не присасывался к калитке, потом и сама точеная палица с трудом входила в ствол и

не долетала до цели. Ружье, как ненужную безделушку, бросили Верьке под ноги и вся ребячья стая как налетела, так и разбежалась.

Подобрав ружье, Верька даже не заплакал от обиды, спрятал ружье в сенях с тайным намерением разобраться завтра, что же произошло с ним, почему оно оказалось таким недолговечным. Было намерение заглянуть внутрь — что там внутри, что отказалось?

До завтрашнего дня надо было еще дождаться, но ожидание каких-то открытий не давало возможности уснуть. Верька давно уже заприметил подходящее для уединенных занятий место. На самом песчаном взлобье уходящей в степь Мостовой улицы, напротив каменной казенки давно уже собирались строить новый дом, навезли валунов под него, обнесли забором, и все подворье заросло колючками вперемешку с лебедой, а в дальних углах какой-то кустившейся ядовитой зеленью... Об этом месте и вспомнил Веря, думая о завтрашних своих занятиях, и уснул, ожидая их.

На другой день, как только появилась возможность ускользнуть со двора, Верька, прихватив испорченное ружье, добрался до Киргизского переулка, отыскал в заборе непрочно приколоченную доску, отодвинул ее и оказался на заросшем подворье. Как и задумал, шваркнул о ближний валун отказалось ружье. Приклад тут же отлетел, но цель еще не была достигнута, было совсем неясно, что же там внутри. Пришлось колотить по валуну, пока ствол не отвалился от остатков приклада, но не сразу выскоцила из него измятая ребятней пружина, а курок, пускающий ее в ход, уже болтался.

С таким бесхитростным устройством Верька никак не мог смириться — с жесткой измятой проволокой и вялым жестяным курком. Мог же он надеяться на мощную сверхъестественную силу, которая метко швыряла палицу с резиной до самой цели, но в стволе к его полному разочарованию ничего волшебного не было. Вот тут-то, усевшись на валун, и заплакал Верька горько-горько, заплакал от большой обиды на людей. Обманули, опять обманули, как обманули сами себя в цирке, как обманывают детей взрослые, — все время

что-то обещают и не держат обещаний. А если вся жизнь будет такой, — обман нарастать на обман?

Швырнул Веря искореженный ствол в колючки и еще пуще заплакал. В горе и не заметил подходившего от дальнего забора пацана. Тот был постарше, и Верька знал, что живет он где-то совсем близко, но с малышней на улице не играл, сторонился не потому, что был неровней, а потому что заметно взрослел. Верька примечал, как проходили он и его отец с книжками в руках и как рассуждали они о чем-то непонятном малышне...

— Ты что плачешь, мальчик? Как зовут тебя?

— Верька.

— Кто же тебя обидел?

От такого участия Верька совсем разрыдался. Вспомнил и об обиде вчерашиней, и о только что обнаруженной, и не мог успокоиться, сказать что-то вразумительное, объяснить, как он здесь оказался. Путаясь, все-таки рассказал и о ярмарке, и о цирке, и о ружье, которое привели в негодность ребятишки с Мостовой, — теперь вот выбросил его в колючки, обнаружив, что ружье не настоящее, обманное. А закончил торопливо, сквозь слезы, перемежая слова украинские с русскими:

— Батько купував ружье на ярмарке, а матә бить будет, хоть до хаты не ходы... Некуда теперь податься...

— Я рядом живу. Зовут меня Борис. Пойдем ко мне, — сказал новый знакомый, взял за руку и повел по едва заметной тропинке в глубину двора. По пути прихватил книжку, которую оставил на примятой траве, услышав плач.

Вскоре они оказались в задней части опрятного двора с добротными новыми постройками — с конюшней и диковинным каретником, в котором Верьку сразила впервые виденная извозчицкая коляска с облучком, откидной подножкой и складным козырьком над ездоками. У задней стены стояли расписные сани, а по ней — развешанная лошадиная сбруя в убранстве, медные бубенцы,

колокольчики... А конюшня была в идеальной чистоте, и лошадей здесь видно давно не ставили.

— Дед мой, Золотарев, в Солодушино станцию держал, — и, видя мальчишечье недоумение, Борис объяснил. — На перекладных и в слободу, и до Царицына возили, извозом занимались...

По малости лет Верька вряд ли понимал, кто такие золотари. Мне и самому довелось узнать об этом по другому слухаю, когда повзросел, а о солодушинском деде Бориса ходила молва, — дескать, случай помог ему разбогатеть: вез он знатную да видно богатую личность из Царицына, а личность взыми да отдаи Богу душу в дороге, так и привез мертвого в слободу, а что у знатного ездока в карманах звенело до смерти и что позывкало после смерти — так это никому неведомо. Только вот солодушинский извозчик стал с тех пор богатеть, подыматься, как хлеб на дрожжах, и перед самой революцией отгрохал на слободском бугре в Киргизском переулке домище — крепко срубленный, гонченый, под железной крышей...

Теперь в каретнике этого дома впервые в жизни слушал Верька рассказы про Робинзона Крузо. По складам он и сам давно наловился читать вывески, но Борис читал бойко, объяснял прочитанное, если Верька что-то не понимал, вразумительно, словно делал так не в первый раз. Дал и гостю-малышу прочитать, помогал верно произносить слова, поправлял, если тот запинался и не мог произнести длинное слово.

Увлеченный чтением, Верька забыл о всех своих несчастьях, а вспомнив, заторопился домой. Борис не задерживал его, но у крыльца просил подождать и тут же вынес оловянный пробковый пистолет, какой совсем недавно Верька видел на ярмарке. Борис, показав его, положил в кобуру с ремешком и повесил Верьке через плечо:

— Владей, пистолет настоящий, отец из Царицына привез, — сказал Борис. — В нем, правда, что-то разладилось и не стреляет, да и пробки кончились... Это тебе на память и для устрашения пацанов.

Домой бежал Верька и с радостью — обогрели и приютили в чужом доме, и с тревогой — не миновать беды в доме своем, мать

к чему-нибудь да придерется, накажет, отшлепает, а то и в угол поставит. Но дома никого не было, и на столе стояла кружка с молоком, накрытая ломтем душистого слободского хлеба. Верька поел, поспал и снова на улице оказался с оловянным пистолетом на боку. Поворачивался этим боком к ребятам, отстегивал кобуру, демонстрировал внешний вид, но в руки не давал, чтоб не знали про изъяны.

— Настоящий, с пробками, — объяснял Верька и закрывал кобуру.

В горящих завистью мальчишеских глазах искры нетерпенья вспыхивали одна за другой. Что только не предлагали взамен — и козонки, крашеные и полированные, и залитые свинцом бабки, с плоскими, сверкающими, как у цыганок, кольцами, и тугой черный мячик для лапты. Верька отворачивался, отклонял предложения и устоял перед всеми соблазнами.

Перешли на пустырь, играли в догонялки, потом в прятки, чтобы застукивать. Сначала посчитались:

Эне,
бене,
раба.

Квинтер,
финтер,
жаба...

Сразу же досталось водить Верьке. И заводили, вокруг пальца обводили каждый раз, застукивались, — и снова доставалось водить. Тогда Верька пошел на хитрость, зажал глаза ладонями, а в одном месте слегка раздвинул пальцы и увидел, как пытается скрыться рахитичный мальчионка с отвисшим пузом и ногами рогачом.

Когда совсем стихло, тут же застукал лупоглазого неповоротливого карася, сидевшего на корточках за ближним крыльцом. Новенький, как оказалось, бежал от голода с верховьев Волги и поселился у Покрова. Звали его Шурка Краснухин. Его-то заводили прямо до

слез. Он спотыкался, с ног падал, бросил все и убежал, тряся животом. Долго, пока все это раскрылось, сидели в укрытиях. Пришлось вылезать, искать новые забавы.

К вечеру перебрались на Мостовую, как раз к тому месту, где начали укладывать булыжники вверх, к самой пожарке и навозили кучи песку. Сначала строили из него крепости, дороги к ним прокладывали, а потом кто-то предложил хоронить друг друга, зарывать в песок, но не взаправду, а понарошке — глаза закрыть самому, чтобы было темно, как в склепе, а нос и рот не засыпать песком, чтобы дышать можно было.

Когда пришел черед хоронить Верьку, начинало темнеть. Туловище и ноги забросали песком довольно быстро, сложенные на груди руки и плечи обкладывали аккуратнее, как-то терпеливее, а дальше все пошло по уговору — больно прижимали руки, голову, забрасывали песком лицо. Верька пытался крикнуть, добиться справедливости, но песок попал на язык, захрустел на зубах, дышать становилось невмочь, и в это время кто-то дернул за кобуру, ремешок лопнул, и кобура с пистолетом отделилась от Верьки. Тут же отпустили руки и голову, и Верька изо всех сил воронхнулся всем телом, вытащил руки, поднял голову и сел, отлевывая песок, протирая глаза, смутно видел стаю убегающих к Успеню, в проулок за дом Нижевских. Вырвавшийся “из склепа” Верька задыхался, сердце колотилось от невероятной обиды, но успел все же нащупать в песке что-то твердое — похоже камень, поднялся и запустил в убегающих, — сначала пискнули, и тут же уже из проулка раздался рев...

Понял Верька — случилось что-то нехорошее и, отряхиваясь на ходу, побежал к дому с одним намерением — шмыгнуть под одеяло, затянуться. Но не тут-то было, в кровать не пустили. Мать вытащила из печи огромный чугун с горячей водой и стала отмывать чумазого сына, а песок везде — в волосах, в ушах, режет глаза. Мать ахала, обнаруживая синяки, ссадины, царапины боевого дня, проведенного на улице, расспрашивала обо всем, но Верька помалкивал, только всхлипывал, не в его интересах было давать какие-либо объяснения.

Ноги наскоро уже домывал сам и тут же забрался под одеяло, сделав вид, что засыпает. Но в это время в окно затарabанили, как во время пожара, резко, настойчиво, стекла задребезжали. Верька ушел под одеяло с головой так, что ноги с грязными пальцами выскочили наружу — в спешке не промыл как следует.

А баба с улицы истерично кричала в окно:

— Твий, бандит башку пробыв моему сыну... Хай идэ на расправу, а то викна буду бить!

— Мий пришел як слепый, ничего не баче, очи писком засыпали. Як вин незрячий голову разбыв. Не туды прийшла!

Мать защищала Верьку как волчица волчонка в своем логове, и пошла у окна перепалка. С той стороны — свое кричат, а с этой — другое, и каждый раз нарастают визгливые, резкие выражения... Но как началась, так вдруг и оборвалась перепалка. Тетка с улицы ушла уже без угроз, а мать, отойдя от окна, кинула взгляд на Верьку, чтобы убедиться, спит ли ее нашкодивший сыночек, и увидела торчащие из-под одеяла грязные пальцы на ногах... Скорее всего виденное и выбило из колен Верькину взбудораженную происшествием мать. Она сдернула одеяло с повинной головы сына и давай колотить его.

Делая вид, что уже засыпает, Верька не видел, как попалась матери под руку угловатая деревянная распорка, которая поддерживала обычно крышку сундука, когда его открывали. И стала ходить эта палка по Верькиной спине, оставляя горячие следы. Палка треснула и разбилась, оставив в коже крупные занозины. В беспамятстве Верька орал во всю силу свою молодую, когда вернулся домой отец и вырвал из рук матери проклятую распорку. Не помня себя, только и услышал слова отца:

— Так у тебя, мать, никогда не будет сына. Убьешь ведь, спину переломишь...

Верька и вправду целую неделю не вставал на ноги. Рубцы на спине от ударов распорки почернели от марганцевых примочек и

долго не сходили. Переворачиваясь в постели, Верька постнывал и выговаривал матери:

— А говорила: “В рубашке родился, счастливецким будешь!”

Под кожушком

Когда и откуда появилась в нашем доме бабушка Шура, я теперь не смогу припомнить. Мне кажется, она всегда жила с нами, а сквозь мое детство прошла светло, радостно и тревожно. Мир совсем уже не детской жизни и еще загадочных человеческих отношений открывался мне через нее. И теперь, когда я думаю о ней, в памяти моей возникает что-то самое сокровенное, бесконечно манящее, что-то цельное, стержневое... Не материя, а живой дух — руками не схватить, не прощупать, — невесомое, размытое, совсем призрачное, живущее в человеке как начало всех начал, скрыто, но без чего каждому из нас, кажется, и поле не перейти, не то что — жизнь прожить...

Вместе с бабушкой в красном углу горницы загорелся мерцающий огонек и запахло лампадным маслом. Всегда подвижная, огневая, задорная, открытая добру и вместе с тем скорая на острое слово, Ивановна или Гурыха — так звали чаще за глаза бабушку ее ровесницы и подружки, звали по нашей искаженной преобразованиями фамилии — смирялась, стоя перед скорбным лицом Матери Божьей. Да и сама она в такие мгновения походила на этот лик, словно с нее писал художник знакомую с детства икону, обнесенную темным окладом и таинственными в мерцании огня, почти живыми цветочками.

Из уважения к бабушке замирал и я, старался в такое время не мешать ей. Задирая белобрысую голову к иконе, вглядывался в святой лик, тут же незаметно посматривая на бабушку. И она казалась мне красивой и молодой, как на иконе, гордой, с тонкими чертами лица, вытянутым с горбинкой носом и грустными глазами, заигравшими в

бликах лампадного света неожиданно озорными огоньками. И в этом лице с тех пор я все больше узнавал свою бабушку, писаное казалось теперь живым, словно Матерь Божья сошла с иконы и стала бабушкой. Я жался к ней и ощущал живое тепло, радовался ее ласке, как самой жизни.

Мать моя недолюбливала бабушку Шуру за, якобы, присущую ей неопрятность, а может быть за горделивую независимость, за остроту суждений, за самостоятельность житейского опыта. Бабушка прожила нелегкую жизнь, хотя и выросла в достатке известной в наших краях семьи Бережных. Чем взял такую жизнерадостную писаную красавицу, высмотрев ее в диких Суслачьих степях, дедушка мой, Гаврила, — не знаю, но чем больше недолюбливала мать бабушку, тем сильнее любил ее я.

Бабушка Шура скорее всего с благословения матери и отца крестила меня, но я знал об этом знаменательном событии только от бабушки. При этом она так заразительно хохотала, что я запомнил на всю жизнь ее веселое повествование.

В тот день разоблаченного догола при всем честном народе оставили младенца, а проще говоря — меня, на какое-то время на всеобщее обозрение перегруженные суетной деятельностью служители культа.

Как вспоминала бабушка, я обиделся на них, начал кривить посиневшие губы, предупредительно вякал что-то, но, когда розовенький молодой поп из Успенья или из Покрова (без бабушки теперь и не припомнить название церкви) опустил меня то ли в слишком горячую, то ли совсем холодную купель, я заорал невыносимо дико и стал пускать пузыри. Суетливый попик напугался, спешно извлек меня из купели и передал бабушке, выпроваживая ее вместе с моим криком, словно опасался цепной реакции — солидарности со мной ждущих своей очереди младенцев.

Бабушкины озорные гены видно уже прочно входили в неокрепшее тельце внука, и мне, рабу божьему, понравилось орать в церкви и слушать, как возвращаются откуда-то из-под купола и высоких

приделов раскатистые басовитые звуки. Беда моя заключалась в том, что бабушка Шура не решалась оставлять дома подрастающего внука в одиночестве, она прихватывала меня в церковь все чаще, заставляя выстаивать затяжные однообразные службы.

Испытав несколько невыносимых, тягостных для своей натуры стояний, я начинал протестовать. Рвался, бывало, на волю еще на подходах к церкви, но бабушка выволакивала меня к самой церковной решетчатой изгороди, чуть ли не выдергивая одну руку, в то время, как другой рукой с зажатой в ней толстой хворостиной я успевал зацепить все детали церковных заградительных средств, словно вертел в руках сторожевую трещотку. На какое-то время, уже у самой паперти, я притихал: пугало обилие юродивых в тряпье и старух-нищенок с торбами.

В самой церкви какую-то часть службы я еще выстаивал, но довольно скоро начинал переступать с ноги на ногу, хныкать, проситься домой. Если бабушка, теряя бдительность, выпускала мою руку, я тут же исчезал из церкви, и ей уже ничего не оставалось делать, как поторапливаться на розыски ускользнувшего внука, пока не успел он начать новые проказы.

Бывало, водила меня бабушка и на святое причащение. Вкусив всю сладость этой процедуры, я поджидал такие события и охотно шел за бабушкой, даже забегая вперед.

Пришли мы как-то по такому случаю в заглавную нашу Никольскую церковь. Народу было — тьма-тьмущая. Из алтаря выбегали с просвирами на подносах молодые, в свободных и длинных одеждах верзилы-слушники, лавируя ловко среди прихожан и норовя зацепить, а то и пихнуть беззащитного пацаненка, притихшего в ожидании святого причащения. Что и говорить, процедура была приятная, хотя, к сожалению, совсем непродолжительная, а ожидать ее приходилось безропотно в порядке живой очереди. Не успеешь получить скромную ложечку густой сладостной жидкости, как надо уже отваливать, уступать место.

Бабушка, правда, никогда не торопилась покидать церковь. Она обходила приделы, ставила свечи и, поджиная праздничного выхода протоиерея, надеялась еще насладиться берущими за душу песнопениями церковного хора. На какое-то время и я смиренно утихал, завороженный идущими из-под купола божественными звуками. Но когда выходил из парадного алтарного притвора облаченный в сверкающие ризы упитанный протоиерей и начинал повторять, как мне казалось, одни и те же растянутые в распев слова, становилось невыносимо скучно. И решал я прибегнуть к испытанному еще при крещении средству. Набирал в легкие как можно больше перегарного, прогорклого воздуха и выпускал его из себя в едином мощном крике. Но перекричать протоиерея было невозможно, от его трубного баса свечки трепыхались, как мотыльки на ветру, и гасли.

Тут-то я и придумал совсем тонко, просто неприлично, по-поросяччи визжать. Бабушка не могла выдержать такого кощунства и вывела меня из церкви. Цель была достигнута. Сколько не облизывайся, причаститься еще раз и сильнее — на всю столовую ложку — не дадут, а солнышко на улице светит вовсю, жизнь там полна нехитрыми радостями, какими-то всегда загадочными ожиданиями, а может быть и маленькими открытиями.

По дороге домой бабушка и отчитает меня, и пожалеет, и даже скучовато приласкает, но матери все равно не скажет, как я визжал в церкви. Добрая душа, чего только не делала ты ради меня, родного, у тебя единственного!

Давненько уже заприметил я в застекленной горке графинчик темно-вишневой настойки. Когда обходившее горницу солнце касалось лучами графинчика, он вспыхивал ярко и манил густой пунцовой глубиной. Родители не раз напоминали, что детям даже пробовать эту гадкую жидкость никак нельзя — того и гляди заболеешь. Да и я, честно признаться, побаивался, хотя не раз был свидетелем того, как на праздники и гости, и родители прикладывались к рюмочкам с домашней настойкой из нашего графинчика и даже похваливали ее.

Дома в тот день никого не было. Возбужденный причастием и огорченный его краткостью, я решительно забрался на стул, чтобы овладеть заветным графином, но живительной влаги в нем уже не оказалось, на дне оставались лишь разбухшие вишневые ягоды. Я тут же принялся вытряхивать их на ладонь и слизывать с нее. Было так сладостно приятно, что иные проскакивали с косточками...

Управившись по хозяйству на летней кухне, бабушка застала меня в горнице уже дремавшим с графином в обнимку. Осторожно извлекла она графин из моих рук, пересекла сени и, выйдя во двор, вытряхнула содержимое у самого крыльца. Боже мой, что тут вскоре началось — разыгралось целое цирковое представление!

Соблазнительно красивый петух наш, как заправский разведчик, знал, когда оторваться от своего куриного войска, и оказался в самое время у крыльца. Иссиня вороной забияка, известный на всю Новоузенскую улицу, при виде поступившего в его распоряжение доппайка, аж затряс сорвиголовой от радости. Воркуя с каким-то особым удовольствием, он тут же склевал подряд несколько разбухших вишневых ягод, после чего закукарекал так небывало басисто и звонко, с еще большей, чем у протониера растяжкой гласных, что едва вышел из низких нот, но вышел с честью, как заправский певец, как большой специалист своего дела.

Бабушка словно предвидела разворот событий, свидетелями которых мы с ней оказались. Она вытащила меня на крыльцо, усадила на верхнюю ступеньку, а сама присела рядом. И очутились мы во дворе, обнесенном глухим забором, как в цирке, на самом видном и почетном месте.

Наш красавец Петя, не дожидаясь подопечных хохлаток, застрявших где-то под забором в густой лебеде и пасленовых кустах, принял еще усерднее склевывать вишни. Занятие это пришло к нему по душе, и желание еще и еще оповещать своих подопечных почему-то пропало. Скорее всего, Петя решил, что не женское это дело клевать хмельные плоды. Нерасторопные хохлатки подошли к

месту представления не спеша, с большим запозданием, потому и приняли в нем, скажем так, совсем скромное участие.

Наклевавшись, Петя вспомнил об исконных петушиных обязанностях, кукарекнул для порядка пару раз, но как-то уже явно не в полную силу своего таланта. Начал важно отходить от крыльца, парадно выбрасывая вперед безукоризненно желтые лапы со шпорами, картинно задерживал их согнутыми в коленях и одну за другой опускал на грешную землю, поглядывая по сторонам, словно желая убедиться, какое впечатление это царское его шествие производит на нас, зрителей, для которых и играл он эту главную роль.

Тут-то нашего героя стало как-то кособочить, он начал странно припадать то на одну, то на другую лапу, едва удерживая равновесие уже только с помощью распущенных крыльев. Кому не ведомо, как ударяет хмель в повинную петушиную голову, а она едва держалась на его еще гордой шее, но не очень уже замечала, где правая, где левая сторона.

Наш Петя всегда кокетливо носил хорошо украшавший его пунцовый гребень. Теперь на наших глазах гребень этот наливался воинственной кровью. И совсем уже что-то неладное творилось с его радужной окраски хвостом, редкостным даже среди петушиной династии: он вытянулся, как у индюка, распушился и чуть ли не волочился за ним по земле.

Хохлатки приуныли в неясном предчувствии. На одну из них охмелевший Петя явно нацелился и начал решительно разбегаться с намерением растоптать избранницу, но просчитался, позорно прокочил мимо. Другую жертву он все-таки настиг, но оплошал еще пуще — тут же свалился на бок...

Когда Петя в третий раз взял бурный старт издалека, даже безмозглые куры что-то сообразили, начали шумно разбегаться, хлопая беспорядочно крыльями и издавая тревожные звуки. В одночасье растеряв завоеванный долгим и честным трудом авторитет, Петя неожиданно прекратил разбег, свернул с беговой дорожки, видимо, решив завершить этот позорный день где-нибудь под забором.

Завороженный невиданным зрелищем, я не очень-то понимал весь драматизм происходящего вперемежку с его комизмом, но бабушка получала большое удовольствие, хохотала до слез, а придя в себя, объяснила, что случилось бы со мной, употреби я хмельную вишню до самого дна графина:

— Слухай батьку та матэрь. Воны дило кажутъ, шоб добра людына из тэбэ выйшла...

И так всегда! Бабушка хотела видеть внука “доброй людыной”, ненавязчиво делала все, что могла, открывала мир таким, каким видела его сама и радовалась этому вместе с внуком открыто, заразительно. Очень любила жизнь моя бабушка, все живое любила под этим жгучим, вечно сияющим над степью солнцем.

А если говорить честно, в эти жаркие летние дни ей недосуг было забавляться с внуком. Надо прежде всего с Пеструхой управляться, раным-рано в стадо вывести, печь истопить, хлеб поднять и вовремя на под выложить, сходить в степь за плотину на обеденную дойку, молока натопить, всякую живность домашнюю накормить-напоить, Пеструху встретить и опять же подоить, задать еды на ночь. И хотя бабушка моя была крепкая, скроенная навечно крестьянка, к концу дня могла умориться и она...

Как-то в жаркий день, в самый разгар вновь наступившего в наших краях голода, в дом забрались воры. Я со сверстниками в это время играл в козонки на заросшей шпарышом лужайке напротив дома и не заметил, когда бабушка возвратилась с дойки, а увидел ее, когда она торопливо выходила на улицу. Я уже успел продуть все свои козонки и увязался за бабушкой, догнав ее у колодца за нешпоровским домом. Тут-то я и узнал, что воры высмотрели, когда нас не бывает дома, забрались через забор в летнюю кухню и унесли все, что было там съестного, даже топившееся в печи молоко перелили из горшков в подойник и унесли. Об этом рассказала бабушке соседка, опознавшая подойник с нашей глаголицей чуть ли не у самого желтого острога, когда одного из воров поймали.

Туда-то мы теперь и спешили с бабушкой. Еще издали увидели толпу людей, возвращавшихся с тяпками с прополки своих бахч. Некоторые, уже натешившись в самосуде, расходились по домам.

Подойдя к окруженному месту, мы увидели лежащего в пыли на обочине разбитой дороги тощего, затравленно озирающегося по сторонам человека в разодранной рубахе со свежими кровяными пятнами и уже запекшейся кровью на голове. Его и сейчас пихали ногами подходившие мужики, норовя ударить в живот, попасть под ребро. Кто-то радовался, что ворюге пустили "юшку из носа", а кто-то с ожесточением требовал:

— Ты ему под дых, под дых дай! Под самую душу, под микитки бей! Не жалей ворюгу!

Уличный самосуд достигал звериного ожесточения, толпа наслаждалась жестокостью, готова была забить человека до смерти, а ворюга уже не мог подняться, только прикрывал голову избитыми руками.

Стоявшие поблизости люди знали, что Гурыха из пострадавших, и посторонились, пропустили ее к избитому, надеясь, что и она приложится. Бабушка видно хорошо знала эти нравы толпы, не спорила, не протестовала. Она нагнулась к лежащему, что-то шепнула ему, помогла встать. Когда он, едва передвигая ноги, пошатываясь, стал уходить, бабушка догнала его и незаметно сунула под рубаху лепешку, которую прихватила с собой в обед, чтобы дать норовистой Пеструхе во время дойки, если плохо стоять будет...

После этого кто-то подал бабушке стоявший в стороне пустой подойник, но она взяла его неосознанно, а продолжала искать меня глазами в притихшей толпе и, найдя, прижала к себе, обняв за плечи. Я хотел сказать бабушке что-то доброе, но меня, перепуганного страшным зрелищем, била дрожь, и я не мог выговорить застывших во мне слов.

Из всех разделенных с бабушкой радостей главной было наступление зимы. Первый снег, сухие морозы, мягкие оттепели после них, когда орава на ораву играла детвора у нашего дома в снежки, в

догонялки, когда вываливали в пуховиках-сугробах, натирали снежными катышами уши докрасна и когда даже малышня не плакала, а сама старалась быть в этих играх проворней и удачливей.

Бегала вместе с нами, метко бросала снежки и бабушка Шура, но особенно искусно лепила она снежных баб, лучше, кажется, и не вылепить, — с черными угольными глазами, да еще с каким-то хитрым-прехитрым прищуром, с красным морковным носом, живым улыбчивым на всю физиономию ртом, с настоящей, размашисто поднятой метлой, словно решилась ею всю нечисть вымести... Что и говорить, талантливая была у меня бабушка решительно во всем — во взглядах на жизнь, в смелых суждениях о ней, в тонких наблюдениях над поведением людей, в живой словесной передаче этих наблюдений, даже в неистощимых проказах и розыгрышах оказывались остроумие, находчивость, творческая фантазия моей бабушки. А была ведь она совсем неграмотной! Я и буквы ей показывал впервые, и выписывал их, как в книжке, печатно, и заставлял ее писать так же, и знаки получались у нее ровные, строгие, но она тут же забывала их. Любила, когда я читал ей о природе, о животных, складные стихи любила — радовалась до слез и гордилась, что внук ее ловко овладевает грамотой.

В последнюю перед школой зиму бабушка Шура была особенно участлива во всех моих делах и забавах. Время наступало трудное, полное тревожных перемен, и голодно было, и жилось всем в предчувствии еще горших бед совсем невесело, но бабушка и в это время не утрачивала радостного интереса к жизни.

Приходивший к нам подкормиться прадед мой, Петро Данилович, как-то по просьбе бабушки сколотил остав ледянки для катания с горы, а уже потом мы с бабушкой — я скорее при сем присутствовал, больше мешал, чем помогал — замазали днище остава свежим навозом, водой залили его несколько раз с надеждой получить твердый ледянной слой. К утру ледянка была готова.

Бабушка обрядила внука в новый, ладно сшитый по мне кожушок, подпоясала красным кушаком, выломала из плетня правило, положила в ледянку сенца, и мы отправились на Мостовую, чуть ли

не к самой пожарной каланче, откуда ловкая пацанва обычно спускалась почти к самому мосту через Ерик.

Поначалу помогал мне дальний бабушкин родич, худой, рослый Сережка Восьмеркин. Жил он неподалеку от нас, был чуть постарше меня и проворней, ледянкой управлял бесстрашно, с шиком. С ним мы ни разу не перевернулись, хотя летели вниз так, что дух захватывало. Сережа прятал меня между колен, прикрывал своим телом. Когда начинали притормаживать, снежная пороша изморозным облаком клубилась над нами, искорки снега забивались в ресницы, осыпали брови, слезами стекали по щекам, а сердце мальчишеское подпрыгивало на ухабах вместе с ледянкой.

Вскоре и меня допустили к управлению транспортным средством из навоза и льда, хотя бабушка при этом страховала внизу, чтобы не вынесло ледянку с внуком в Ерик. Когда завозил ледянку в гору не так высоко, удавалось спускаться вполне благополучно. Но азарт нарастал, и я норовил забраться на самый верх. Ледянка была уже раскатана, края ледяные обломились до самого навоза. Разве так важно, что подразбитое транспортное средство не в лучшем техническом состоянии, что оно пошатывается, его заносит? Куда важнее азарт управления, когда ты в гордом и радостном одиночестве скатываешь вниз... Но тут-то и не справился я с ледянкой, зацепил за сугроб и вылетел в клубах снега к парадному крыльцу доктора Коблова.

Когда скорая бабушкина помощь подоспела к докторскому крыльцу, я даже улыбался, хотя бабушка заохала и заахала, обнаружив у правого глаза основательный синячище, и уже начала прикладывать к нему слепленную из снега ледышку. Как и подобает мужчине, я никак не хныкал, а переносил молча и стойко полученные синяки, но когда увидел отодранную от самого пояса полу моего ладного кожушка, совершенно скис и обмяк... Сердце упало, покатилось вниз, — ну все, достанется мне на орехи и на многое другое...

В одно мгновение вспомнился клепанный по-кавказски ремешок, мирно никогда не висевший в прихожей у самого косяка входной

двери. Не раз приходилось вздрагивать, когда дверь эту захлопывали, поглядывая, при этом на оживший ремешок. Вот уж погуляет он теперь по мягкому месту обладателя разодранного кожушка. К сожалению, насилие уже тогда, а в домашней педагогике особенно, брало верх над разумом.

Благодаря бабушке и на этот раз все завершилось довольно мирно — разбитую ледянку спрятали в летней кухне, а кожушок мой кинули за сундук. Только вечером, когда родители ушли в гости, бабушка швом искусственным соединила отодранную полу с самим кожушком.

От радости я подпрыгивал, приплясывал, целовал бабушку и тут же начинал упрашивать, чтобы перед сном, когда управляется, рассказала сказку. И на этот раз на бабушкиной скрыне, высоко поднятой пуховиками и отделенной от прихожей ситцевым цветастым занавесом, забирались под большой лохматый кожушок — то ли мерзла бабушка у входной двери, то ли вспоминались ей холодные ночи степного кочевого жития. Да и мне в теплом логове было ловчее проникаться сказочным настроением, дышать под кожушком таинственно-сладостным миром волшебных бабушкиных слов.

Ах, сколько знала бабушка сказок! И каких — про дела житейские, про мужиков с нашей улицы, со степи Эльтонской, из Суслячих далей за Тургуном, и чудно-волшебных — про Иванушку-дурачка, который, себе на уме, выкарабкивался из пропастей невылазных, побеждал справедливо и мужественно самого-рассамого Змея Горыныча, всяких чертей и ведьм, земных и водяных нечистей и оказывался к окрылявшей меня радости разумнее придурковатого, мужиковато оплошного царя, хотя вроде бы хитрого из самых хитрых.

Сколько житейской мудрости черпал я из мира сказочной жизни, открытого бабушкой, — тут тебе и всякие страсти людские, и вечные добрые чувства народные!

На этот раз произошло нечто необычное, не похожее на прошлые вечера — и бабушка вела себя как-то странно, и сказка оказалась страшной-престрашной.

Я уже пригрелся под кожушком, а бабушка убирала со стола на кухне и весело с присказками былички сказывала:

— Летала сова — веселая голова, летала-летала и села, хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела...

— Жил старик со старухой. У них было пять овец, шестой жеребец, седьмая телка... Была у них кошечка-судомоечка, собачка-пустолаечка, овечка да коровушка... Была старая свинья, не ходила никуда... Взял волк свинку за белую спинку, за черную щетинку. Понес волк свинку за пень, за колоду, за белую березу, стал свиные косточки гладить, свиных родителей поминать...

Лучше всего получались у бабушки анекдоты, и рассказывала она их на украинском языке один за другим, со значительными паузами для размышлений и непосредственной реакции слушателей: “Бежить мужик, а навстречу йому иде москаль. Мужик пытае у москаля:

— Москалю, москалю! Чи не находыв ты торбинки, а в торбинци виторопок та два поляници?

— Шо?

— Чи не находыв ты торбинки, а в торбинци виторопок та два поляници?

— Нет, я нашел мешок, а в мешке заяц да две лепешки.

— Ни, — каже мужик, — це не мое...

“Цо за суш така! — казав пан писар пану голови. — Коли б дощук збрыйзнув, — то все б полизло з земли.

— Типун тоби на язык, пане писарю! — каже голова. — Уже там у мене три жинки, да не дай боже, як вони вылизутъ!..”

Когда бабушка улеглась под кожушок, стала отбиваться докучными сказками:

— Рассказать ли тебе, внуче, сказку про белого бычка?

— Расскажи.

— Ты говоришь: расскажи, я говорю: расскажи. Так доколе у нас будет? Рассказать ли тебе сказку про белого бычка?

— Не надо.

— Ты говоришь: не надо, я говорю: не надо... Рассказать ли тебе сказку про белого бычка?..

Я готов был расплакаться от отчаяния, взять бабушку слезами, как она брала меня измором.

— Ты лучше расскажи, бабаня, про чертей да про старую ведьму, как она на Иванушке каталась...

Бабушка разок-другой хмыкнула, откуда, мол, знать тебе мои задумки, ничего не сказала, пропустила мимо ушей внукии домогания. Но меня-то не обманешь! Чего-чего, а про чертей и ведьм бабушка знала превеликое множество сказок, да и сама изображала таких страшилищ, что при одном их появлении душа в пятки пряталась.

Еще совсем недавно, в минувшее Рождество, снаряжала бабушка меня и Серегу Восьмеркина колядовать. Завязывала в узелок чашу с разваренной пшеницей в сладком медовом соку и отправляла по близким и дальним родичам нас, "новобранцев", закутанных в женские платки, туго стянутые на спине.

Рождественская ночь выдалась выюжная, холодная. Черти расшалились до крайности, швыряли в нас сухие жгучие охвостья снега с завыванием, норовя запорошить глаза, слепить ресницы. В заулках быстро нарастили сугробы, снег забирался за голенища валенок, облеплял узел с кутьей, проникал в приготовленную для даров торбу. Хозяева в такую погоду собаку во двор не выгонят, а скучоватые родичи с самого ранья даже ставни позакрывали, малышне не добраться через сугробы к окнам, не дотянуться, не достучаться — колотили прямо в гонт под окошком.

Тяжело пробирались ребята через слободские завьюженные улицы, через обособленные в личные крепости дворы с железными щеколдами и задвижками. Влекла нас доброта обряда, рождественская загадочность да еще тихие мальчишеские радости — скромные рождественские подарки. Вдруг перепадет розовый пряник-конек, осыпанный ароматными сладостями, при этом еще, глядишь, не какой-нибудь позеленевший пятак, а от щедрого сердца звонкое серебро, на

которое и книжку с картинками можно купить. И ходили мы в лютые рождественские морозы из одного края слободы в другой, чуть ли не к самому кладбищу...

Когда, стуча промерзшими валенками, гремя сосульками, ввалился я в натопленную избу, бабушки дома не было. Вьюга на улице уже завывала вовсю, окна обледенели, а в трубе по-страшному ухало... Из сеней тут-то и заскребся кто-то, замяукал, заблеял, заскулил. Дверь скрипнула, и в клубах холодного воздуха встало на пороге чудище в овечьей шкуре с рогами, красногубое, с измазанным сажей лицом — узнать в нем бабушку никак нельзя.

А на мне — лица не было. Бабушка поняла, что переиграла, и срочно разоблачилась, сняла вывернутый наизнанку тулуп. Это еще и не цветики, и не ягодки, а что выделяла она, неистощимая на выдумки, по молодости! Даже знаяшие об этих ее талантах люди немели в испуге, с трудом приходили в себя.

Вечерами я и сам понуждал бабушку рассказать про чертей, про леших, про всю нечисть, при упоминании которой мураски по спине бегали, а сердце замирало в ожидании страшных исходов.

— Ну, слухай, — наконец решительно сказала бабушка. — Держись за мэнэ та дюже не злякайся... Про Вия казать буду...

И начала бабушка рассказывать про Иванушку с Волги-матушки, с самого Эльтона-озера, решившего навестить своих родителей и сродственников из-под самой Полтавы. Как встретил он красавицу, а красавица-то была ведьма. Как загнал ее до смерти. Как три ночи читал псалтырь по покойнице...

Обычно по-русски рассказывала бабушка плавно, словно вместе с ней по большой реке плывешь от одного переката к другому, и лишь изредка расцвечивала свой рассказ неожиданными украинскими словечками и выражениями. В этой сказке русских слов становилось все меньше и меньше, и наконец она совсем перешла на родную ей с детства украинскую речь. Да так шустро заговорила, что я не все и схватывал, хотя и чувствовал, что начинается совсем волшебное дело.

От ночи к ночи страхи Иванушкины нарастили — ведьма вставала из гроба и только крики петухов прекратили его мучения.

Слушать сказку во всех самых страшных деталях мне уже было невмочь, но бабушка не считала нужным щадить внука, даже сгущала краски. Я уже задыхался под кожушком, жался в непроницаемой шерстяной темноте к бабушке, ощущал живое тепло родного человека и радовался петушиным крикам как торжеству всепобеждающей жизни. Чутко воспринимая тревоги и радости внука, бабушка все крепче прижимала меня к себе, и я еще больше задыхался от ее ласки...

Третья ночь оказалась самой тяжелой — половицы в часовне запрыгали, земля разверзлась и невиданное чудовище, обросшее зеленою шерстью, появилось перед Иванушкой. Вся нечистая сила, вооруженная вилами и лопатами, бросилась поднимать спутанные веки страшного Вия. В это время за стенами часовни со всех сторон во все горло, надрываясь, заорали петухи.

Мне теперь кажется, что пуще всех петухов старалась моя дорогая бабушка. Она кукарекала так, как только могла, чтобы разлетелась вся тварь, вся нечисть, чтобы живой Иванушка остался, чтобы добро победило зло.

Вскоре не стало у меня бабушки. Случилось это так неожиданно и так несправедливо, что я и теперь не могу поверить в то, что ее нет на этом свете... В тот день выпал бабушке перед собирать стадо с нашей улицы и выгонять его за слободу. У плотины коров поджидали пастухи. Время было осеннее, на крыши пал иней, тяжелой бахромой навис на проводах...

Когда стадо вывернуло на улицу, выходящую прямиком за слободу, бабушка подгоняла хворостиной пооставших и норовивших вильнуть в сторону коров. Видно, в это время и почувствовала она — впереди что-то случилось, коровы начали растекаться по краям улицы, обходя натужно гудевшую в тот день линию электропередачи. Бабушка поспешила к голове растянувшегося стада, к

видному издалека раскоряченному подпоркой столбу. У него еще билась, запутавшись в оборванных проводах, глупая соседская корова. Ничуть не раздумывая, бабушка бросилась помогать в беде животному...

Оказавшиеся поблизости люди как-то смогли добиться, чтобы линию отключили, тут же забросали бабушку землей, прикопали, делали все возможное, чтобы спасти ее, но оставить Ивановну в живых, как это она сумела сделать со сказочным Иванушкой, даже самые добрые люди не смогли.

Когда я прибежал к месту, где случилось несчастье, она, окруженная толпой, лежала с уже закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, умиротворенно спокойная. Так она, видно, и встретила поджидавшую здесь беду. Смерть ничем не могла изуродовать живого лица немножко уставшей и только что, казалось, уснувшей женщины, словно впереди у нее была еще целая вечность... Хватило одного мгновения, налетела, ударила жестокая темная сила, прожгла насквозь — и все... Только пестрый, в неуместно ярких цветах платок, как-то по-старушечки подвязанный под самым подбородком, выгорел на макушке вместе с неуспевшими еще поседеть волосами...

Такой она и лежала на столе в горнице нашего дома, почти у самой лампады, со свечой в больших, ставших восковыми руках, все еще сохраняя иконописный лик — самой красивой и самой молодой среди окружавших ее престарелых подруг. Ночевать меня отправили к соседям, и снился мне всю ночь жестокий страшилище Вий. Кто же теперь защитит внука?

Разве мог я предугадать, что и десятка лет не минет, а бабушка будет рядом со мною, как живая, и поможет выйти мне из адского пламени войны...

В ночное

Отец рано начал приучать Верьку к домашним делам, к обычным житейским хлопотам, что были под силу и малышу — то небольшое ведро с водой поднести к кухне, то охапку сена бросить Воронку в кормушку, то какую-нибудь дощечку приколотить, двор подмети... Не все получалось сразу, но Верька старался, прирастал к делу. С малых лет приучал его отец сидеть верхом на Воронке. Вцепившись в гриву лошади, Верька поначалу орал, боялся упасть, а отец делал вид, что не слышит крика, но всегда был рядом и доглядывал, чтобы малыш не рухнул с лошади, а привыкал к ней.

В то утро встали в доме, как всегда, рано и собирались, не торопясь, основательно. Отец приторачивал к телеге хорошо завернутые в холстину косы, чугунный котелок приличных размеров. Мать на кухне собирала в узлы глиняную посуду с деревянными ложками, хлебом и солью, совала в зембель кринку с квасом, горшок с кислым молоком, и сnedь эту прятали в сено на заднике той же телеги.

— А ты, сынок, сходи к колодцу, напои Воронка, — сказал отец и отдал в руки сына поводок уздечки.

Верька рад стараться. Воронок привык к нему, идет сзади, помахивая головой, тыкаясь мягкими губами в Верькину щеку. Подвел к колоде лошадь, напоил и — домой. Но Воронок не хочет идти, фыркнул, махнул головой, вырвал поводок из рук мальца и доволен: лег на песок, катается, шею вытягивает, голову о землю чешет. Испугался Верька, бросился стремглав через улицу и, едва открыв калитку, кричит на весь двор:

— Папа, скорее... Воронок помирает, на песок упал и ногами дрыгает!

Отец подбежал к калитке и вместе с Верькой — на улицу, а Воронок уже стоит у колодца, поднялся с песка, отряхивается, и сам идет через улицу к дому. У Верьки глаза на лоб забрались — только что помирала лошадь, теперь бодренько идет домой, улыбается Верьке,

фыркает от удовольствия, потому что дурачка обманула. Как бы невзначай отец потрепал сына за ухо и сказал:

— Ты, оказывается, сынок, обманывать научился... Собирайся-ка поскорее, возьму и тебя на сенокос. Пусть мать даст одежонку потеплее, тогда и в ночное пущу... Там, гляди, и узнаешь, что лошади так не помирают...

И оказался Верька в Займище, на лугах. Переправлялись на узконосых лодчонках. Сережка Восьмушин гордо сидел с правилом на корме, как жердь проглотил, и ловко вырулил через затравевшие протоки на сухой берег, где и разбили стан на всех сложившихся в артель косарей. Подъезжали еще лодки, выгружались со снастями и припасами новые косари и уходили бригадами в глубь длиннущего Казачьего острова.

Травы в тот год буйствовали, чуть ли не в рост человеческий вымахали, и острющие, как бритвы, косы вгрызались в самую гущу спутанных водой и ветром трав, ходили в дурманно-сочных зеленях, выговаривая:

— Вжиг, вжиг, вжиг...

И видел Верька, как кружились над взмокшими головами косарей шмели и осы, как темнели рубахи меж лопаток, как падала, падала, падала только что стеной стоявшая трава...

Один за другим вспыхивали на берегу костры. Прихваченная косарями ребятня из тех, что повзрослев, забивала рогатины, бегала к реке за водой, и меж рогатин вешались на жердях прокопченные чугунные котелки, вместительные, на всю бригаду. Берег был усыпан мелкой ребятней — соревновались, кто больше наловит сорной рыбешки на уху. Сережка взял Верьку в свою лодку и — давай шнырять по заводям. В траве у него еще загодя поставлены вентеря на хорошую рыбу с приманкой. “Трясли” и чужие вентеря, если попадались под руку. К костру привезли рыбы не на одну уху — и окунь, и линь, и шустрые щучки приличных размеров — всего вдоволь, а ребятня ершишек и всякой мелкоты для вкусу натаскивает.

В полдень потянулись к становью совсем взмокшие косари, раскидывали в тени брезенты и садились обедать. Вместе с отцом из одной миски и Верька хлебал вкусную ушицу, ел подсунутые отцом куски мягкой рыбы без костей, закусывали мамиными пирогами, запивали холодным кислым молоком прямо из крынки. Так было хорошо, благостно на душе, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вздремнув самую малость, косари уходили к своим наделам и вновь кружилась под ногами земля, падала трава под косой полу-кружьями, а солнце медленно сползло с высоты к горизонту, из огненно-желтого становилось красноватым и уже не жгло так нещадно, как в середине дня. Косари возвращались на становье совсем без сил, падали в наспех сооруженное ложе и засыпали, чтобы утром опять продолжать дело привычное...

Ребятня уходила в ночное стеречь оставленных за рекой лошадей. Запасались картошкой, брали одежду потеплее — ночи были еще холодные! — и переправлялись на слободскую сторону. Здесь, на высоком бугре, на стыке Волги и Воложки, паслись наши стреноженные лошади. Пьянящий дух скошенной по утру луговой травы смешивался с наносимым со степи ветром особым ароматом здешних трав, находившихся в буйном весеннем цветении, и едва еще слышимым дыханием молодого, совсем только чуть-чуть седоватого полынка.

С Волги доносились то глухие протяжные басы буксиров, то резкие и всегда неожиданно пронзительные гудки пароходов, после чего тишина становилась невпроворот густой, только слышно было, как лошади где-то совсем рядом жуют траву.

Уже в ночи из собранного сушняка запаливали артельный костер. Он постреливал изнутри жаркими шустрыми угольками, а язычки пламени порхали на черно-синем полотнище ночи; чуть выше над костром едва курился, причудливо извиваясь, сизый дымок. Самый ловкий из старших ребят, Шурка Христенко, поддерживал этот огонек, давал ему возможность разгораться. Все остальные распо-

лагались на животах вокруг костра и следили за причудливой пляской огня, когда дымок еще слабо и приятно щекочет ноздри, щиплет глаза.

Пришло время закладывать картошку, и вскоре из костра начали прорываться и волновать ноздри совсем домашние запахи. Тут-то и повалили всякие рассказни, “пobreхушки”. Старшие ребята что-то слышали от взрослых, а может быть, и сами придумывали всякие страшные истории, стараясь пуще всего напугать малышню, но нередко пугали и сами себя.

— Вот слыхал я совсем недавно брехню про чертей, — начинал кто-нибудь из самых смелых. — Пробрехивают, что черти ребятишек воруют... Рога свои прикрывают, хвост крутят, як у поросся, и прячут в портки. Одним словом, притворяются людьми и воруют, як цыгане. Ребятню прячут потом ловко — ни за что не отыскать...

Озаренные огнем лица разомлевшей у костра малышни настороживаются, в глазах трепыхаются язычки пламени, и пробегает между ними робкая тревога.

Другой норовит про свое сказать:

— А я вот слышал, что на земле есть люди дикие, в звериных шкурах ходят... Так они человечину едят, а кровью запивают...

Глаза у ребят все больше ширятся, в зрачках — страх самый настоящий, неподдельный. Дрожащим голосом Верька все-таки вякнул:

— Неправда это... Людоеды давно жили, теперь таких нет... Робинзон Крузо — читал я — про них рассказывал, а сам боялся, когда припливали людоеды на необитаемый остров...

— Ишь, тоже читатель нашелся... Не-прав-да... — осекли Верьку, и он уже больше не встревал в “пobreхушки” старших, притихал и слушал их молча.

Рассказывать теперь взялся Сережка Восьмушин, и его рассказ про недавнее прошлое звучал как быль, может быть, слегка приправленная близким к правде домыслом рассказчиков:

— Дело было недалеко отсюдова, чуть выше по реке, на Камягинах хуторах. Батька мой про случай тот знал хорошо и мне

говорил... Да на хуторе я и сам бывал. Дом там стоял большой с двумя выходами — с хозяйствкой половиной и с жильем для сезонных рабочих... Летом набирали их помногу, и нашего брата, и казахов, и татар по огородному делу. Вокруг дома — крепкие конюшни, копанные хранилища для овощей, с обложенными диким камнем входами, а сараи — с широкими воротами-въездами... И все — под коваными запорами-задвижками, под литыми амбарными замками. Было на хуторах два чихиря, крутили верблуды, а обижаживали их казахи.

— Имя хозяина на хуторах этих батька мне называл, но я теперь уже не помню. Бежал он от революции, — то ли в степь подался, в банду, то ли в чужедальные края ушел. Держал хозяин работника-горбуну. Служил ему горбун верой-правдой, ближе был самого близкого родича, — и одежонку почистит, и сапоги смажет, как лакей, и на сезонных рабочих доносил, если роптали. Тут же рассчитывал их хозяин, прогонял. Жил горбун на хозяйствкой половине, и не было у хозяина от него никакой тайны... И до революции, и после революции. Оставался горбун в доме и тогда, когда хозяин бежал. Новые власти забрали дом и выгнали горбуну, а поселили рабочих плантаций... Те, значит, в первую ночь и наложили в штаны, когда побачили, как маленький горбатый человек, весь в белом, ходит по крутым крышам конюшни, по крышам сараев и к дому подбирается...

— Как-то возвращались рабочие с вечерних работ, канавы для завтрашнего полива прочищали... Подходят к дому, глянь, а в каждом окне свечка горит... И вовсе в тот раз перепугались да и отказались жить на хуторах. Пришлось на работу из слободы людей привозить...

— Нашлись и люди бесстрашные. Ничего не боялись, затаились к ночи за хутором и следили. От них и слухами пользовались, что горбун каждую ночь приходил, по дому расхаживал с фонарем, как хозяин, чем-то побрякивал... Исчез потом сразу...

— В самую коллективизацию, мне уже годов девять было, начали ремонтировать дом. Горбун тут как тут, в первую же ночь появился. Народ перепугался, разбежались с того места, как с

прокаженного, но горбун опять исчез, и больше его никогда не видели в этих краях. К чему заявлялся в дом по ночам, что искал — али хозяина, али сам обогатиться хотел и что-то искал — никто про это не знает...

— Только когда перекладывали печку, нашли кирпич — не кирпич — темный, тяжелый... Потерли, а он изнутри блестеть стал. Оказалось, золотой слиток, а на вид кирпич... То ли этот слиток искал горбун, то ли хозяин секрет имел и от него... Вот такую историю рассказывал батька мой...

Костерок к концу Сережкиного сказа уже догорал, покрылся пеплом, тлели только отдельные угольки, но они вдруг вспыхивали, озаряя ребячью лица, возбужденные услышанным, а над костром на черном бархате неба — бриллиантовая россыпь звезд. Там, где небо бледнело, обнаруживая вечную свою глубину, нарождался тоненький серпик-месяц с нежным женским лицом, и тогда все небо представляло в божественном наряде... Красота такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать: и ребята у костра, и собака у их ног, и чуть дальше, если хорошо всмотреться, отвернувшись от костра, силуэты лошадей — весь этот мир вступает в вечную таинственную связь, которая, казалось, никогда не будет познанной до конца и не перестанет вечно манить загадочной красотой.

Старшой Христенко начал вытаскивать из пушистого жаркого пепла картофелины в тонкой оболочке-корочке, кое-где прижженные сквозь пепел провалившимися углами и в том месте поджаристые и особенно вкусные. Старшой раскатывал их, чтобы остывли, но малышня не имела терпения, хватала, обжигалась, перекатывала с ладони на ладонь, дула на картофелины, не выдерживая их внутреннего жара, бросала на землю, тут же сдувала песок, снимала кожуру, вновь студила, перекатывала во рту горячие рассыпчатые кусочки и, обжигаясь, глотала эту божественную еду. Ничего такого Верька в жизни своей никогда не едал! Говорят, печеная картошка пахнет дымом костра, — неправда, она пахнет степью, ее духом пропитывается

все вокруг, на языке остаются ароматы степных трав, ими дышишь, как воздухом, забываешь, что дышишь.

О вкусах, говорят, не спорят, но в отношении печеной картошки я полностью согласен с Верью — благостное восприятие мира в ночном порождалось вкусом и ароматом печеной картошки!

К утру похолодало. Сережка прикрыл Верью какой-то кацавейкой, и тот даже уснул, склонившись к Сережке, а потом и голову положил на его колени. Сон был коротким, пробуждаться не хотелось, но Сергей тормошил вовсю, так что голова едва держалась на шее:

— Вставай, засоня! Всю красоту проспишь, лопух!

Верью тер глаза кулаками и едва разодрал слипшиеся ресницы. Сережка уже сбежал к реке и набрал родниковой воды. Прежде чем повесить котелок на костер, Сергей плеснул Верью на протянутые ладони — так и обожгло лицо холодной свежестью, сон как рукой сняло. И увидел Верью, глядя в степь, как появлялась в глубине ее большая румяная хлебная краюха. Румянилась краюха эта все больше, сначала в половину круга, но половина эта, как казалось, была еще далеко-далеко, и на нее еще можно было смотреть, не опасаясь обжечься. Солнце на глазах румянилось, словно под ним костер невиданных размеров, и костер этот все больше разгорался и, наконец, из-за горизонта вывалился огромный пылающий шар...

Каждое утро солнечный круговорот возрождал жизнь на земле. Первыми навстречу солнцу потянулись, медленно раскрываясь, поздние, совсем уже мелкие тюльпаны — “лазоревые цветки”, как их издавна величают русские люди. Окропленные чистейшей росой, распрымлялись, шли в рост травы всех семейств и мастей, пробуждалась, суетилась в трудах всякая живность, но больше всех радовались солнцу затихшие на ночь птицы, выказывая свою радость на разные голоса: и раскатистым пением, и плавным журчанием, и тонким свистом, и почти человеческим восхищением, изумленным возгласом — и все это хорошо оркестрованное птичье щебетание выливалось в созданную природой музыкально цельную симфонию, которой

завершалось первое Верькино ночное, и оно открывало для него еще одну ступень познания мира.

Без Воронка не было бы у Верьки такого памятного ночного, ему Верька был обязан и этим вхождением в мир. Вскоре Воронка увезли с нашего подворья, потому что отец ушел со службы в военкомате, а там служил и Воронок самая мирная, самая любимая на этом свете Верькина лошадь. Верька обнимал голову Воронка и плакал, а Воронок тыкался мягкими губами в его щеку, словно прощаясь, целовал, хотя не мог знать, что расстаются они навсегда.

Как-то к осени Верька снова оказался в ночном. Старшим ребятам уже доверяли на выпас вместе с лошадьми и верблюдов. Было это почти в тех же местах, на озерах у плантаций с поливальными чихирами, которые крутили верблюды. На них же возили в слободу всякие овощи: раннюю капусту, травы-приправы, огурцы и помидоры, выращенную в заливных низах картошку.

Верька про норов верблюдов кое-что знал и — чего скрывать — побаивался этих мирных, выносливых, послушных, но еще и не совсем познанных человеком животных, прямо-таки загадочных, древних, но вот они — живут рядом. Верька давно вертесся около верблюдов, и они его никогда не трогали, не обижали. Не трогал их и Верька, а отец, выросший в степи, исподволь приглядывал за сыном, остерегал от всяких проказ и шалостей с этими животными. Уж он-то и от казахов что-то перенял, да и сам умел достаточно ловко управляться с верблюдами.

Поведал как-то малышне о том, что знал про верблюдов, и Сережка Восьмушин. Он-то и зашел за Верькой в тот день загодя, чтобы успеть добраться до Комягиных хуторов вовремя. Было у него и желание искупаться в тамошних озерах да еще и посидеть на вечерней зорьке с удочкой, а если случится удача, и уху к ночи сварганиТЬ.

Мать сунула в руки сына узелок с еще теплым караваем подового хлеба, со всякой приправой для ухи, и новоиспеченные пастушата, выйдя за слободу, спустились к Воложке и берегом добрались до

озер на старой Резницкой протоке. Солнце еще светило вовсю, даже пригревало, но уже в меру своей осенней силы.

Кучно сложили на берегу одежонку свою, съестные припасы, рыболовные снасти. Сережка взобрался на знакомый прибрежный валун, прыгнул и саженками вымахал чуть ли не на середину, на самую протоку. Верька топтался у берега, потому что не мог плавать, побаивался воды, ждал возвращения старшего, под присмотром которого только и велено было заходить в реку. Пока Сережка плавал, отфыркивался где-то на середине протоки, Верька бегал по берегу, заходя в воду по щиколотки — не больше, ощущая под ногами прохладный, ласкающий пальцы песок.

Когда Сережка вышел на берег, Верька был уже чуть ли не по колено в воде, радостно подпрыгивал, приседал, поднимал вокруг себя брызги, изнутри чувствуя вхождение бодрящей влаги в каждую новую клетку набирающего силу тела.

В радости и азарте не заметил, как оказался в воде по пояс. Но тут же прозвучал осторегающий голос Сергея:

— Все! Дальше не ходи! Барахтайся здесь, а я за валуном у коряги удочки заброшу.

Не мог Верька не согласиться со справедливостью указаний своего старшего. Отталкиваясь от песчаного дна и барахтаясь, он плыл теперь к берегу, а скорее всего полз — животом по песку.

Верьке так понравилось быть в реке, заходить все дальше и дальше и ползти к берегу, что он пропустил ту опасную грань, какая отрывала его от берега и влекла в реку все глубже. То ли дожди в тот год шли к осени чаще, воды в реке становилось все больше, и ее стремительней тянуло к протоке, то ли в этом месте с той самой опасной грани, к которой добирался Верька, дно становилось скользким, илистым и уходило в глубину совсем круто.

Незаметно для себя Верька оказался в воде сначала по грудь, потом по горло, но его теперь тянуло все глубже. И странное дело, он словно бы смирился со всеми этими обстоятельствами, не мог даже позвать на помощь, вымолвить хотя бы одно слово, крикнуть.

Когда вода подошла ко рту, он даже хлебнул пару глотков, но, приподнявшись на цыпочки, успел хорошо вздохнуть, а выдохнул уже из-под воды да так, что вокруг него вода забулькала пузырьками. Скорее всего это и спасло Верьку.

У Сергея начался клев, поплавок сильно потащило в сторону коряги. Он подсек слегка и в рыбакском азарте не спускал с поплавка глаз. В это время и услышал какие-то звуки за валуном, зыркнул туда, а там, где только что купался Верька, из воды торчала мокрая щетка его выбеленных солнцем волос да мелкие пузырьки расползались вокруг...

Как был в расстегнутой до пояса, выгоревшей рубахе, засученных до колена штанах, так и бросился во всем этом за Верькой, и уже под водой схватил его за волосы и стал тащить к берегу. Отталкиваясь от песчаного дна, приподнимал за волосы и Верьку, видя, что на лице его все стало круглым — и глаза, и рот, и ноздри — вся мордаха округлая...

Верька жадно втягивал в себя и воздух, и воду, но молча, как рыба. И только на берегу издал первый звук, заревел в голос. Сергей схватил его за ноги и начал трясти так основательно, что голова замоталась по песку...

Позже выяснилось: Верька даже не успел испугаться. Только вытащенный на берег, догадался, что могло произойти с ним, и заплакал. Через несколько минут он уже сидел растертый докрасна, утешенный всем, что было под руками, и всхлипывал. Рядом, подавленный случившимся, стоял Сергей и, занявшись, выговаривал одно слово:

— Лоп-п-пух!.. Ну, лоп-п-пух!.. Во-т т-т-так лоп-п-пух!..

Видно, испугался он больше Верьки. Все произошло в какие-то считанные секунды, никак не мог понять Сергей, почему “лопух” молчал, не крикнул, не позвал на помощь. Да что Сергей, я, можно сказать, близкий родич “лопуха”, знаяший его почти изнутри, не находил никаких объяснений тогдашнему Верькиному состоянию. Даже будучи взрослым, объяснял мне Верька как-то по-детски, что ему хотелось из-под воды посмотреть на красоту другого мира — в

ушах уже звенело, в глазах сверкали молнии, можно было притянуться и не дышать... Вот чего хотелось маленькому Верьке, когда Сергей, нарушив таинство желаний, тащил его за волосы! Ну, кто же мог его понять в этих желаниях, если сам он их осознавал смутно, да и рождались эти желания стремительно, без понимания их гибельного для жизни исхода.

Стоило представить себе, что ожидало Верьку дома, вернись он сейчас туда и расскажи, что пришел почти с того света, мураски стяями начинали бегать по спине. Колотить во что бы то ни стало своих детей, как я теперь думаю, родители могли только в отчаянном безумии, никак не вникая в душевное состояние малолетних сорванцов, вызывая страх физической болью, да еще — желание отомстить за эту боль...

Совсем мирно развивались в дальнейшем события на берегу Резницкой протоки, видевшей в прошлом, судя по ее древнему названию, полные драматизма столкновения. Сергей выждал свою одежонку, разложил сушиться на валуне, а сам зашел в воду, чтобы вытащить брошенное при спасении Верьки и прибитое к коряге удилище. Сделать это оказалось не так просто. Сережка думал, что крючок зацепился за корягу, но когда хотел отцепить, нащупал в воде сидящую на нем скользкую рыбу, и с трудом, ухватив за жабры, вынес на берег налима вполне приличных размеров.

Поправив свою счастье, Сергей поймал с десяток себельков, красноперок, окуньков. А когда Верька на другой крючок каким-то чудом впервые в жизни вытащил на берег золотистого увальня — линя, ребята поняли, что уха сегодня может состояться, а жизнь, несмотря на некоторые неприятности, прекрасна и удивительна. Верька заулыбался, даже подумал, а может быть, он и вправду в рубашке родился.

Завечерело, и ребята, собрав монатки, стали взбираться наверх, в степь, куда к ночи казахи обычно отгоняли и верблюдов. Поднявшись, оказались вблизи неглубоких балок, спадавших к старой протоке. Ребятня, пришедшая раньше, уже раздула костер и кашеварила,

а теперь с радостью набросилась на упавший с неба "рыбный вклад" и, предвкушая сытный ужин, принялась чистить рыбу, готовить уху по-крестьянски, с пшеном.

Оставленные на ребячье ночное попечение лошади и верблюды широко разбрелись по степи в сторону Левчуновки. Когда-то в этих краях до самого Ерслана шли выпасы чумацких волов, возивших соль с Эльтона. Теперь, прихватив по корке хлеба, густо посыпанного крупной солью, Сергей с Верьюкой собирали по степи лошадей и верблюдов, чтобы подогнать их ближе к своему костру. Верька видел под ногами высохшую уже после осенних дождей, растрескавшуюся землю с редкой растительностью и удивлялся, чем тут могут питаться даже самые неприхотливые животные, а верблюды ели все, что росло на этой лишенной влаги земле или цеплялось за нее: и горькую полынь, и иссохшее до звона перекати-поле, и даже ни для кого не съедобные колючки, как-то справляясь с их желтыми иголками, — ничем не брезговали, все могли употребить в свою пользу.

Несколько молодых верблюжьих пар отделились вместе с верблюжатами от основного стада. Во главе их гордо выхаживал самец по кличке Седой. Он брал на себя охрану брачных пар. Издали звавшев приближение ребят, он настороженно озирался по сторонам, готовый в любое время подать сигнал опасности или занять удобную для защиты позицию. Верька даже вздрогнул, когда сзади его кто-то слегка подтолкнул. Оказалось — верблюжонок с любопытной озорной мордочкой — маленький, на точеных ножках, словно детская игрушка, бело-рыжий, пушистый, ухоженный. Ему явно хотелось поиграть с ребятами, он заигрывал, но осторожничал, чуть что — взбрыкивал и не подпускал к себе.

Невдалеке в верблюжьем стаде выделялся крупный верблюд по кличке Губошлеп — вредный, норовистый, злой, с волосяной веревкой в ноздрях и палкой ("цурка" называется), чтобы легче управляться с его норовом, если разгуляется. Сергей знал Губошлепа давно и предупреждал Верьку, чтобы близко к нему не подходил.

— Он не тутошний. Со степи, из-под Кайсацкой, видно, пришел. Его всегда в голове валики ставят и он всю дорогу орет: “А-а-а-а!” Тошно становится... — рассказывал Сергей по пути к стаду, а когда подошли ближе, остановился — не ходи за мной. Постой тут. Кто знает, какое нынче у Губошлепа настроение, куда повернет он...

Да и сам подходил к возвышавшемуся над верблюжьим стадом Губошлепу с некоторой осторожностью, протягивая щедросыпанную солью корку хлеба и приговаривая:

— Соль! Соль! Соль! Соль!..

Губошлеп милостиво изволил наклонить голову и захватить желанный дар разлапистыми губами. Пожевал, пожевал и пошел за Сергеем к костру, а за ним потянулось все стадо верблюжье и вскоре без всяких хлопот разместилось вблизи костра.

Наступала пора вечерять, ребята проголодались и заждались общего сбора, когда можно побалакать-полякать, всякие побреухушки послушать. Тут-то и появился из темноты на лошади наш старой Шурка Христенко — крепкий, рослый, в широченных шароварах, с огромным соломенным брылем за спиной. В ярком свете вспыхивающего костра он, только что пригнавший из дальних балок целый табун лошадей, казался ребятне настоящим героем, лихим казаком-запорожцем — от одного свиста его хоть к земле пригибайся.

Кое-кто из ходивших в это ночное видел нашего Христеню на скачках, между гамазеей и огороженными плетнями, знаменитыми на всю слободу садами. От плетня к плетню скакали на лошадях перед изумленными глазами собравшихся. Кто в плетень врежется, кто на бегу слетит, кто через голову резко остановившейся лошади перевернется — и смех и грех, и радость и горе. Всякое выпадало на долю смельчаков, но Христя всегда был на высоте, сидел на лошади, как влитый в нее, с гордой завидной осанкой, готовый не только скакать, даже от земли отрываться и лететь... Впрочем, чего не может казаться восторженной детьворе!

А теперь наш почти идеальный герой ловко соскочил с лошади, присел к костру, отведал ухи и стал нахваливать ее, облизывать ложку, просить добавки, а насытившись, вспомнил, как ехали они с Сережкой и его отцом на хутора в сторону Кайсацкой:

— Дило було осенью. Хлиба вже в закрома звозыли. Тильки скирды соломенные и стоять ридко, близ дорог, чтобы пидъихать легче. Хутора дальние, а степь голая, як столешница, куда ни глянь — дикое поле, все побачить можно. От радости, шо на свободе, драли горло, удалые песни спивали...

Пид самой Кумыской глянул назад, а там волки увязались за нами, тройкой бегут, на каждого по одному. Держатся подальше, но не отстают. Логово у них видно где-то под скирдой было и недавно вылезли, — шерсть торчком, а в ней солома. Бегут шустро... Ясно, як божий день, не уйти нам от бирюков — тощие, голодные — не отвяжутся. Повозка загруженная, уходить трудно, лошадь загнать можем, она и так нервничает, шаг прибавляет. День клонился к вечеру, но темнеть только-только начинало, а до хуторов ще пилять да пиятъ...

— Тут мы с дядькой Осипом и Серегой порешили дать бирюкам бой. Батьку на возки, чтоб коня держав, не спускав в разгон, достали серники, надергали соломы из-под епанчи, скрутили в жгуты, приготовились — Серега с правой стороны повозки, а я — слева. Чем скорее надвигалась ночь, тем волчья стая подбиралась к повозке все ближе. Теперь они так близко, что ощеренные клыкастые пасти, горящие глаза разглядеть можно. Стая раскололась и начала обходить повозку. Тут-то и стали мы с Серегой поджигать жгуты и швырять в волков. Они огрызались, но пришлось отступать. Запахло паленой шерстью, но бирюки не сдавались. Через какое-то время стая приближалась и норовила взять нас в клещи. И так до случая, когда жгут упал на спину матерого бирюка. Вновь запахло паленой шерстью и бирюк, повизгивая, бился на дороге. Отставать стала и пара, шедшая за повозкой... Так вот и отбились. А колы дядько Осип завернув к кошаре, шоб заночуваты, став распрягать, а кинь в оглобьях бьется,

по краям зиркя, а кожа на нем с головы до хвоста рябью ходит. Шо лошадь, сами обмерли, понять не моглы, як и отбылсы...

Ребятня, как всегда, слушала и на этот раз, раскрывши рты, затаив дыхание. Понимали ведь, что это не какие-нибудь побрехушки, а настоящие события. Тем героичнее выглядели в их глазах сидящие у костра подлинные герои. Верька, как романтик, прямо надо сказать, благоговел перед ними и чуть-чуть завидовал, что не мог помочь старшим товарищам, хотя во время рассказа страх мурашками бегал по спине и от этого теперь было как-то неловко...

Ночи в степи становились прохладнее, особенно к утру, перед восходом солнца. Ребячья мелкота все еще побаивалась верблюдов, но после встреч у костра предпочитала проводить около них оставшуюся часть ночи — и теплее, и никто не обидит, верблюд всегда предупредит об опасности, не даст подойти внезапно ни зверю, ни человеку с недобрыми намерениями.

Впереди расположившегося к ночи верблюжьего стада со стороны степи одиноко лежал Губошлеп. Сергей с Верькой обошли его и выбрали двух мирных молодых верблюдов, меж которых оказались, как за крепостной стеной — справа и слева зубчатые башни из верблюжьих горбов, а вверху — звездный шатер, небо темно-темное, усыпанное золотом и серебром звезд.

— Ну, как, нравится? — спросил Сергей.

— Красиво! — ответил Верька и прислонился к верблюду. — Мягко, тепло...

— То-то ж!. Жалко Бориса Золотаря нет, он бы все небо, как по книжке, обрисовал. А я что, главное только и запомнил. Вон, видишь, яркая-яркая звезда? Не видишь? Дывысь-дывысь, ковшик из звезд, бачишь? По краю ковша вверх над ним — ярко горит, Полярной звездой кличут. На самый север глядит, дорогу в холодные края указывает.

Верька только начинал читать небо, хотя оно манило к себе, притягивало своей загадочностью. На всякий случай и Сергею

сказал, что видит Полярную звезду, а про себя подумал: “Там, видно, и Соловки, куда в клетках-рыдванах раскулачивать увозят”.

Вглядываясь в небо, помолчали-какое-то время, словно побыли наедине с вечностью. Сергей, видно, вспоминал и о том, о чем только что у костра рассказывалось, потому и сказал вслух:

— Ты знаешь, Христя не все выложил, что тогда случилось, когда от волков отбивались. А случилось вот что — встреча с Губошлепом... Почти всю ночь мы тогда не спали, боялись: нападет волчья стая на кошары... Только выехали на заре, скакет кто-то нам навстречу. Все ближе и ближе, вгляделись — казах, вцепившись в холку пузатой лошаденки, колотит ее по брюху ногами, что есть мочи хлещет... Что такое? Куда бежит, что с перепугу кричит? Тю, за ним верблюд, бешеную скорость набрал, почти догоняет казаха... Шея вытянутая, шаг широченный, ноги выбрасывает далеко, отпихивается от земли и летит какое-то время распластавшись, как пуля летит, как снаряд... Такой верблюжий бег впервые видывал, куда и неуклюжесть ихняя девалась. Разгон верблюду делать тяжело, а остановиться еще тяжелее, не может остановиться — добежав до цели, делает круги, чтобы укротить себя. В то утро Губошлеп врезался в кошары, отвалил угол и остановился, — и то не сразу... Молодой, горячий самец, еще без щурки ходил. Видно, много верст гнал он казаха, нашу повозку и не заметил, хотя батька — от греха подальше — свернул с дороги прямо в степь... Он посчитал, что казах неопытный, лоноухий оказался, помешал, видно, самцу брачеваться...

После этого рассказа Верька притих в размышлении, прикидывая про себя, как много узнал о жизни, побывав в ночном, — о людях узнал, о животных, о природе и мире вокруг, о сложности людских отношений... Во всем мироздании что-то открывалось мальцу впервые, оставаясь загадочным и еще не доступным в полной мере его сознанию. Не сразу и уснул от всех этих впечатлений, но проснулся легко.

Солнце вставало медленно, какое-то недовольное, хмурое и грело совсем скучно. Пришлось побегать, чтобы разогреться. Христя уже

погнал на водопой лошадей, а верблюды что-то и не торопились подниматься, следуя примеру Губошлепа, который лениво важничал перед ними, едва поворачивая голову с прищуренными глазами...

Тут-то и разыгрались на Верькиных глазах почти драматические события, когда уже Сергея надо было спасать.

Набросав в подол рубахи речного песка, Сергей направился к Губошлепу, ласково приманивал к себе:

— Соль!.. Соль!.. Соль!..

Но сколько не повторял это магическое для верблюдов слово, на Губошлепа оно не производило никакого впечатления — и мордой не повел. Не ожидая такой встречи, Сережка и сыпанул песок прямо в его нахальную морду. Губошлеп недовольно рявкнул и с непривычной для него поспешностью начал подниматься на ноги. Сергей сообразил — намерения у обиженного верблюда слишком решительные и лучшего выхода, чем давать стрекача, тикать к реке — не нашел.

Глядя, как набирает скорость Сергей, как мелькают его пятки, Верька никак не мог понять, почему он только что ласково кликал норовистого верблюда, остерегал малышню, не давал подходить к Губошлепу, а теперь сам убегает от него. Сережка потом объяснял, что никак не ожидал такого поворота. Хотел поднять Губошлепа скорее, а с ним и всех верблюдов отогнать к чихирям и сдать хозяевам... К реке, дескать, побежал просто так, на всякий случай, думал верблюды плавать не могут...

Но не тут-то было! Оглянувшись, увидел Сергей — Губошлеп настигает его, становится все ближе и ближе. Тогда и пришлось с резбега бросаться в реку. Страх удесятерял силы, махал саженками, как крыльями на ветру мельница. На середине протоки готов был облегченно вздохнуть. Перевернулся на спину и с ужасом увидел торчащую в реке голову Губошлепа, не спускавшего с него глаз... Опасный противник, усиленно подгребая под себя воду сбоку, приближался...

Новая волна страха пробежала по спине Сергея. Выбрался из реки и что есть духу побежал через займище. Зыркнул пару раз назад, видит: верблюд вышел из воды, отряхнулся и, решив, что беглецу деваться некуда, пошел вслед за ним, как хозяин положения.

Сергей и вправду не знал, как спасаться и где его спасение — метался по займищу, с горечью сознавая, что Губошлеп настигнет его в конце концов... “А вот оно спасение!” — мысль эта пришла стремительно и неожиданно, когда увидел молодой, начинавший терять листья осокорь. Взобрался на него со скоростью привыкшего жить в тропическом лесу Маугли.

Губошлеп не спеша подошел к осокорю, огляделся и начал снизу нажимать на него, раскачивать, а молодое деревце аж потрескивает. “Ну, все, — пропал, плохи мои дела, — мелькнуло в голове Сергея и как прожгло насквозь. — Сломит дерево, растопчет...” Ничего не оставалось, как надеяться на случай, на лучший исход.

Лошадей уже угнали на хутора, верблюды сами потянулись за ними на плантации к чихирям, а Верька остался на бугре, готовый в любую минуту расплакаться от своей беспомощности, от отчаяния — не знал, что и предпринять... Он видел, как гнался Губошлеп за Сергеем, как подошел к дереву и вскоре лег под ним, готовый, видно, не вставать до победного конца. Понял это и Сергей. Никак не ожидая, что верблюд выпустит его на волю скоро и без борьбы, Сергей начал устраиваться удобнее на дереве, чтобы выдержать осаду.

— Сергей, ты живой? — решился позвать Верька своего старшего товарища.

Сергей не сразу отозвался, но через какое-то время, сложив руки рупором, крикнул:

— Живой! Беги на хутора. Кличь хозяина верблюдов. Нехай выручают! Понял?

— Понял! — ответил Верька и с радостью помчался к плантациям спасать Сергея от Губошлепа.

Пока помощь подоспела, времени утекло много. Сережка мокрый сидел на дереве, продрог на ветру, совсем съежился, посинел. Когда пришли двое казахов и не без труда подняли и увезли Губошлепа, Сергей спустился на землю. Старший из казахов — Базаржап звали его — возвратился от старой протоки и предупредил Сергея:

— Ты, малец, совсем-совсем не хади сюда... Губошлеп тебя учуяет, узнает всегда. Ушибить может...

Возвращались домой молча, как побитые. На плечи каждого давили свои неудачи, а в головах вертелись разорванные на клочья горькие размышления о бедствиях и несчастьях молодой жизни. Совсем было приуныли Сережка и Верька. Кто-то, видно, донес об этих бедах отцу Сергея и он, как обрезал, — никогда больше не пускал сына в ночное.

— Хватит! Одно баловство! — и это еще были не последние слова дядьки Осипа. — Пойдешь в церковь со мной. Пора и грехи замаливать.

А Веркины родители даже не знали, что онтонул, как его выручал Сережка... Долго не знали...

Ноябрь 1990 — январь 1991

Переделкино — Вологда

ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

Мое поколение знает Михаила Шолохова, можно сказать, с детства, хотя книги его писаны вовсе не для детей. Нам посчастливилось читать “Тихий Дон” и “Поднятую целину” вскоре после появления этих романов в свет. Мы шли за писателем по горячим следам изображаемых им событий. Скажу честно, в первых книгах “Тихого Дона” не все было нашему брату по уму. Степи донские, быт казачий накануне первой мировой войны были ближе и понятней скорее нашим родителям, чем нам. Помню, как отец, увидев у меня на столе два аккуратненьких по формату, скромно изданных тома “Тихого Дона”, перелистал, нашел в речи героев “сочные” выражения и тут же изъял у меня эти книжки.

— Рано тебе читать такое, — сказал и ушел к себе.

Отец мой не был книголюбом и вообще редко читал книги. Эти же тома “проглотил” — приходил с работы — и в книги до глубокой ночи.

Был у отца товарищ Иван Заикин, донской казак с залихватски закрученными усами. Жили Заикины небольшой дружной семьей. Любил я бывать у них в гостях, хотя жили они замкнуто, как-то патриархально. Бывало, начнет дядя Иван вспоминать о том, как служил в Первой Конной — заслушаешься. Была у него самая высокая награда того времени — орден Красного Знамени. И теперь, вспоминая с детства незабываемые встречи, вижу сходство этого большой души человека с Макаром Нагульновым. Не только внешнее, в деталях биографии, а в пафосе, в убежденности его, что юность была отдана великому делу борьбы за новую жизнь.

Так вот он, Иван Заикин, читал “Тихий Дон” обстоятельно, вдумчиво, беседовал на эту тему с отцом и не всегда соглашался с Шолоховым, у него находились свои аргументы. Но и восхищался:

— Откуда он такой! Да знает все дотошно. А пишет как правильно!

Четвертую книгу романа читал я перед самой войной по мере того, как она печаталась в журнале "Новый мир". Чтение это становилось фактом биографии, во всяком случае для меня впервые с такой силой воздействия и на разум, и на чувства открывался в те дни мир сложных человеческих отношений.

Не мог я тогда и предполагать, что Шолохов окажется первым писателем, которого суждено мне увидеть своими глазами и даже разговаривать с ним, и что встреча эта состоится у меня на родине в маленьком заволжском городке Николаевске. Встрече этой суждено было определить многое в моей судьбе, повлиять на мои литературные вкусы и интересы. В тот первый военный год заканчивал я среднюю школу.

II

Однажды на перемене кто-то из всезнающих объявил новость — приехал Шолохов с семьей. Остановились они в доме своего старого вешенского знакомца — агронома В. Мирошниченко. Позже появилась в школе и старшая дочь писателя Светлана. Училась она классом ниже, мы познакомились и охотно подружились. Было это в ноябре 1941 года.

Вскоре узнаю — Шолохов выступает перед слушателями спецшколы ВВС. Пробиваемся и мы, старшеклассники средней школы № 1. Где-то на галерке, чуть ли не стоя, слушаем рассказ писателя о поездках на фронт. Шолохова едва видно за аккуратно стриженными головами рослых спецшкольников, да и слышно плохо. Он в форме полкового комиссара, в простой бумажной гимнастерке, в петлицах — четыре зеленых шпальы, на рукавах — яркие комиссарские звезды. Стройный, невысокий, говорит тихо, рассказывая и рассуждая. Он уже побывал в августе-сентябре на Смоленском направлении Западного фронта, а в октябре-ноябре участвовал в боях на Южном фронте. Не преувеличивая трудностей, писатель спокойно рассказывал о конкретных боях, о мужестве наших воинов

и коварности, жестокости врага. Он говорил о том, что война будет трудной, победа нескорой.

— Не ждите легкой и быстрой победы. Войны хватит и на вас, готовьтесь к тому, чтобы встретить ее мужественно. Война жестокая, кровавая, но не пугайтесь ее. Победа будет за нами!

Придя домой, я записал свои впечатления от этой встречи.

Двери шолоховского дома были широко открыты, особенно для военных. Приходили к нему и бойцы, и командиры, навещал писателя и наш земляк И. И. Красноярченко, командовавший тогда авиационной дивизией, прикрывавшей воздушные подступы к Сталинграду. Но были дни, когда Шолохов никого не принимал — работал, писал. Светлана, хотя и скромно, что-то рассказывала нам об отце, но о творческих его делах всегда молчала. Может быть, Шолохов уже в это время задумал роман “Они сражались за Родину” и даже начал писать его — не знаю. Но вот некоторые сделанные в это время наблюдения, николаевские штрихи, бытовые детали, мне кажется, вошли в этот роман.

Внимательно следил Шолохов за делами своих литературных собратьев, интересовался их военной судьбой, много читал, иной раз и мне приходилось разыскивать нужные ему книги. От него впервые услышал я об Ольге Берггольц и ее пламенных выступлениях по ленинградскому радио, о новой поэме Н. Тихонова “Киров с нами”. Шолохов тяжело переживал гибель Евгения Петрова, с которым сблизился еще в первую поездку на фронт. Когда бои подвинулись к Волге, немало писателей в качестве военных корреспондентов появилось в наших краях. Редко кто из них обходил Шолохова.

В середине января 1942 года, после длительного отсутствия, Шолохов вернулся в Николаевск. Может быть, это было как раз после возвращения с фронта на боевом самолете и неудачного приземления в Куйбышеве, когда писатель получил тяжелую травму. Во всяком случае, Светлана, через которую я договаривался о встрече, предупредила, что отец болен. Это к тому, чтобы мы не очень докучали своими писаниями, знали меру.

Вечером 26 января 42 года вместе со своим школьным товарищем, сочинявшим стихи, мы постучались к Шолохову. Тут-то и екнуло сердце: показывать-то собственно нечего. Но и отступать уже некуда. Откуда-то появились стулья, на которые усадили нас с Шуркой, и Михаил Александрович стал расспрашивать, что пишем, чем занимаемся. Мой товарищ сказал, что принес стихи, я, было, ударился рассказывать о том, что пишу роман о гражданской войне на Волге. Про стихи свои умолчал — теперь стыдно вспоминать о них. Боже мой, о чем мы тогда писали, да и как писали!

— А писать-то вообще вы умеете? — спросил Михаил Александрович. — У вас есть что-нибудь с собой? Покажите...

Шурка помалкивал, а я, бормоча невнятное, стал копаться в скрученных трубкой школьных тетрадках, достал какой-то рассказик про рыбалку, очерк про наше Заволжье. Шолохов тут же прочитал все это и прямо сказал:

— Да, с романом у вас ничего не выйдет, запутаетесь в фактах и героях, которых — предвижу — введете больше, чем надо. Вы еще молоды, практикуйтесь на мелких рассказах. А “Суровую Волгу” отложите... — и улыбнулся открыто, приветливо.

К весне семья Шолоховых перебралась в старинный деревянный особняк на Советской улице. Большой двор весь зарос акацией, а вход был через резное крыльцо со скамеечками. Вот тут мы и засиживались, бывало, ночами, здесь встречались, отсюда расходились парочками по тихим улочкам. Об этом помнит и сдружившая нас Светлана, и ее одноклассник Альбин Турков, тогда лишь мечтавший быть адмиралом, а теперь ставший им, и душевная наша подружка Вера Павлова, и Геняка Коломийцев... Многих уже и в живых нет.

Здесь, на этом крылечке, познакомился я с матерью Шолохова Анастасией Даниловной. Она, бывало, выходила погулять с младшей своей внучкой Машей и засиживалась, рассказывая о себе, о сыне, разговаривала с нами какими-то особыми певучими словами, даже песни казацкие напевала. Заставал нас здесь и Шолохов, но

задерживался редко, а если останавливался, то говорил серьезно, как со взрослыми:

— Ну что, мужики, пора и в армию собираться...

Мы уже и вправду готовы были идти на войну.

А после той памятной встречи, когда он вел речь о наших писаниях, увиделись мы только в конце марта 42 года. Писатель был на фронте и вернулся однажды под большим впечатлением от встречи с человеком трудной фронтовой судьбы, о котором рассказал в своей "Науке ненависти". Весной писатель много работал. Во дворе дома, под тенью акаций стоял грубо сколоченный столик. Там, в уединении, чаще всего и видели мы его и старались не мешать. Может быть тогда и рождались здесь знаменитые вскоре строки: "На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу... На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весной дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветки искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные тугие листья..."

Давно уже Шолохов рвался в родную Вешенскую, особенно тосковала по своим краям Анастасия Даниловна. Расставаясь с этой доброй отзывчивой женщиной, мы не думали, что прощаемся с ней навсегда. 5 июля Шолоховы переправились через Волгу и двинулись в Вешенскую на машинах.

Время было очень тревожное, на излучине Дона уже шли бои. Да и у нас на Волге все острее чувствовалось горячее дыхание приближающейся войны. Белые волжские пароходы, замаскированные зелеными ветвями, жались к луговой стороне, за небом следили установленные на верхних палубах спаренные пулеметы — фашистские летчики не раз прорывались к Волге, бомбили Камышин, гонялись над Волгой за каждой приметной целью.

Совсем неожиданно семья Шолоховых вернулась в Николаевск, но без Анастасии Даниловны. И мы узнали печальную весть:

10 июля мать писателя погибла при налете на Вешенскую фашистских стервятников. Шолохов тяжело переживал ее гибель. А через несколько дней Шолоховы покидали Николаевск. 27 июля мы с Генкой Коломийцевым, заскочили к Светлане, наспех попрощались. Машины двинулись в степь, к Уральску...

III

В годы войны мне еще не раз доводилось встречаться с Шолоховым. Уже после участия в боях на Первом Украинском фронте, после тяжелого ранения и скитания по госпиталям, я оказался под Москвой и, получив как-то увольнение, заглянул к Шолоховым в Староконюшенный. За завтраком, усадив меня рядом с собой, Михаил Александрович расспрашивал, где и в каких боях я участвовал. Особенно интересовался тогдашней новинкой — тяжелыми самоходками, на которых мне пришлось воевать, их лобовой и бортовой броней, мощностью орудия, использованием самоходки в обороне, прорыве и наступлении.

Интересовали Шолохова и николаевские новости — судьбы ушедших на войну ребят, виды на урожай в Поволжье. Знал Михаил Александрович о давней моей мечте стать филологом и в этот раз, совсем по-отцовски тронув меня за плечо, убежденно заговорил:

— Не грусти, служивый, самое позднее через год будешь уже другую, студенческую лямку тянуть. Война долго не продлится. Пусть беснуется фюрер, призывая своих солдат продержаться до весны. Фашисты надеются еще на летнее наступление. Но это для них уже из области невозможного...

В это время Шолохов особенно напряженно работал над романом “Они сражались за Родину”, часто выезжал на фронты. В январе 1945 года, когда я вновь встретился с ним, он только что вернулся из Сталинграда, а ранней весной этого года побывал в Восточной Пруссии. На тот же Третий Белорусский фронт через несколько дней отправился и я.

Предсказывая мне в связи с близким концом войны желанную судьбу, Шолохов почти во всем оказался прав. Не мог он только знать, что на Дальнем Востоке завяжется еще одна война — с японскими милитаристами, и мне придется участвовать в этой войне. Два месяца сидели мы на границе, ожидая своего часа, и я от отчаяния, что все мои планы рушатся, написал Шолохову в Бешенскую первое письмо, в котором, может быть, и на свою судьбу сетовал, но больше всего рассказывал о работе над повестью о войне "Земля русская". Уже здесь, в Манзовке и под Гродековым начал я реализовывать свой замысел, но от других держал его долгое время в секрете. Когда написал десяток глав, прочитал их близкому человеку — полковнику Гордиенко. Ему понравилось, и я возмечтал довести свой замысел до конца. Командир дивизии меня поддержал, а Шолохов молчал. Да и что он мог ответить? У него в то время и своих забот было сверх всякой меры.

Продолжал я работать над повестью и после окончания войны, когда возвратился в университет; какие-то главы появились на страницах альманаха "Литературный Саратов", и я решился послать их на суд Шолохова. Ответ пришел довольно быстро. 20 февраля 1948 года он писал мне: "По отдельным главам я не берусь судить о достоинствах всей вещи. Что касается всего романа, — давай спишемся летом (июль — август), раньше прочитать не смогу, просто не имею физической возможности". На этом, собственно, дело с моим прозаическим писанием и закончилось.

А в университете героем моих сочинений становился Шолохов — чаще всего я обращался к его "Тихому Дону" — и от концепции этого романа, от образа его эпического героя шел к изучению творческой истории шолоховской эпопеи. Тогда научно всеми этими вопросами никто, в сущности, не занимался, передо мной было обширное поле деятельности. В научном отношении оно представлялось почти нетронутой целиной.

С утра до ночи просиживал я в университетской библиотеке, занимался в саратовских спецфондах. Открывались вещи давно забы-

тые и даже не всеми знаемые, обнаружились пустоты в долитеатурной биографии писателя, в освещении истоков его литературной деятельности. Что касается изучения истории гражданской войны на Дону, то об этом и говорить не приходится. Тут было в то время все темно, мрачно и загадочно.

Еще студентом по меньшей мере дважды я выезжал в Москву для обследования архивов. Кое-что, разумеется, было найдено в архиве Гослитмузея по указанию самого В. Д. Бонч-Бруевича, в ЦГАЛИ, в архиве ИМЛИ Академии наук, даже в архиве М. Горького мне показали письма Шолохова и горьковские оценки писателя. Но такие материалы находились редко, недоумений становилось даже больше, и единственный, кто мог заполнить пустоты в моих разысканиях, что-то подсказать был сам Шолохов. В каждый из приездов я звонил писателю и — мне везло! — заставал его в Москве, мчался в Староконюшенный. Но Шолохов о себе почти ничего не говорил, от ответов на мои вопросы уклонялся: “за давностью лет не помню...”, “за точность не ручаюсь...” Я впадал в отчаяние, мне казалось, что после таких ответов самого писателя я никогда не пробуюсь к истине.

В доме Шолоховых встречали, как всегда, приветливо, радушно. Мария Петровна предлагала разделить застолье и не отпускала до тех пор, пока не выспросит все подробности молодой жизни. Светлана как-то отдалась, жила заботами своей семьи, разделяя с военным мужем дальние дороги. У Михаила Александровича не все ладилось с романом. Даже до меня, человека далекого в ту пору от литературных кругов, доходили слухи, что Сталин, недовольный затянувшейся работой писателя, говорил будто бы, что все былинки и тычинки на Дону все равно не опишешь...

IV

Кажется, весной 1949 года я застал Михаила Александровича в его московском рабочем кабинете. Стол был завален рукописями. Писатель усадил меня рядом со столом, но поговорить не удалось.

То и дело раздавались телефонные звонки, назначались деловые встречи, "выколачивались" какие-то трубы, трактора и комбайны для Вешенского района. Совсем было загрустил я. Оперся локтем о стол, а под рукой оказалась довольно объемистая машинопись романа "Они сражались за Родину". Неловко как-то повернулся, листы сдвинулись, поползли и, водворяя их на место, увидел я последний лист и четкую фразу: "Конец первой книги". Об этой новости (такие вещи Шолохов держал в секрете) мне тогда неловко было кому-либо говорить, но вскоре и в печать проникли известия о завершении первой книги романа. Шолохова, видно, торопили со всех сторон, но он, продолжая публикацию отдельных глав, все-таки не решался представить их как цельное повествование.

В тот год, закончив университет, я получил назначение в Вологду, а в Саратове с трудом пробивался в печать составленный мною биобиблиографический справочник "Михаил Александрович Шолохов". Я писал Шолохову о возникших трудностях, в чем-то просил совета и даже новый текст автобиографии писателя. Шолохов, как всегда в таких случаях, промолчал, не желая вмешиваться в дела, связанные с его именем. Но вдруг в Вологду пришло письмо, которое я привожу полностью:

"Дорогой т. Гура! Автобиография 1934 г., разумеется, устарела, да и нужна-то, на мой взгляд, не автобиография, а биография или нечто вроде вступительной статьи с биографическими данными.

Что касается помощи, то уж тут, браток, на дядю-автора не надейся и выкарабкивайся сам. А то у меня получится так: "чужую беду по пальцам разведу, а к своей ума не приложу".

Желаю творческих успехов!

25.150

М. Шолохов."

Зашитив в 1953 году кандидатскую диссертацию по творческой истории "Тихого Дона", я много работал над книгой о Шолохове. Она выходила к 50-летию писателя, меня поторапливали, но не все ладилось у меня, да и в издательстве — книга адресовалась школе,

учителю литературы — не давали мне высказаться так, как хотелось. В биографии писателя по-прежнему было для меня много неясностей и противоречий. В источниках, с которыми я знакомился, обнаружился совсем неожиданно некий “краснодарский период” в жизни писателя (сведения о нем, к сожалению, проникли и в первое издание моей книги). Об этих трудностях я не раз писал Шолохову, просил посмотреть биографическую часть моей работы. Хотелось опубликовать и фотографии из семейного альбома писателя, особенно — портреты отца и матери Шолохова. Тут Михаил Александрович нагло закрылся, никак невозможно было к нему пробиться. И вдруг получаю письмо, текст которого воспроизвожу полностью:

“Дорогой т. Гура! Всегда я был неаккуратен насчет переписки. Если за всю войну я прислал жене только одну открытку и одно маленькое письмо, — можешь судить, каков я в мирной жизни и в отношении остального...

Биографическую часть пришли. Фотоматериал “ляснул” в Вешках в 42-м. Желаю успеха в твоих творческих исследованиях. Привет!

23.3.54.

М. Шолохов.

Р. S. Но я еще разделяю в “Они сражались за Родину” любителей изводить бумагу из числа тех, кто писал перед боем, ухитрялся слюнявить бумагу где-нибудь в блиндаже во время боя, и уж совершенно обязательно <марал> на бумагу после боя, описывая свои “высокие” переживания и наводя тоску на близких...

М. Ш.”

Не могу обойти вниманием и хочу тут же объяснить шолоховский постскрипту о поведении на фронте любителя изводить бумагу... Скажу честно, выражение Шолохова я основательно смягчил, заменив его другим и поместил в угловые скобки, хотя в нашем деле такая замена и не полагается. Когда появилась “Судьба человека”, я вспомнил об этой приписке, вчитываясь в признания Андрея Соколова и узнавая в них позицию самого писателя:

“От своих письма получал часто, а сам крылатки посыпал редко... Тешное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог эстаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют... Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к тому нужда позвала.”

Шолохову так важно было высказаться по этому поводу, что он опередил свое намерение и всю страсть свою, все убеждение передал герою рассказа “Судьба человека”. Стойкость солдата, его способность все снести, все вытерпеть обрела смысл и пафос духовного величия русского человека на войне.

К 50-летию писателя филологи Ленинградского университета готовили сборник статей. Пригласили участвовать и меня. Кроме уже прочитанного в Пушкинском Доме доклада об основных задачах изучения творчества Шолохова, я предложил публикацию первых трех фельетонов писателя, его предисловия к английскому изданию “Тихого Дона”, писем к Н. Островскому, а также сообщение об оценке “Тихого Дона” А. Н. Толстым. Все это и было впервые опубликовано в сборнике с моими комментариями. Но на такую публикацию нужно было разрешение Шолохова, возникли и некоторые вопросы, которые я и задал в очередном письме в Вешенскую. Ответ пришел довольно быстро:

“2.3.55.

Вешенская.

Дорогой т. Гура! Не возражаю против опубликования в ленинградском сборнике “разрытых” тобою материалов. Что касается содержания письма Н. Островского, то на этот вопрос я не могу ответить, т. к. просто не помню. Так же, за давностью времени, не могу ответить и на второй вопрос.

А в отношении рукописи "Жизнь и творчество" целиком полагаюсь на твою добросовестность. Мне же читать о самом себе невыносимо скучно!

Желаю всяческих успехов в работе.

М. Шолохов".

V

Первая моя поездка на Дон состоялась летом 1956 года, и провел я в Вешенской, в разъездах по верхнедонским хуторам и станицам около двух месяцев — почти весь июль и август.

Добирался я из Миллерова в Вешенскую не без приключений. Дороги настоящей тогда не было, а путь дальний — величественная и необъятная донская степь изрезана суходолами, буераками, балками, капризными степными речонками. Весной того года они буйствовали, полая вода сорвала почти все мосты, размыла насыпи, нарушила переправы. Мы то и дело ищем обезды, ныряем в балки, а лето в тот год выдалось знойное, солнце жгло нещадно. За нашей машиной долго еще висит над дорогой бурая полоса пыли, медленно оседает на выгоревшую полынь. Спускаемся к слободе Ольховый Рог, обезжаем скелет рухнувшего моста, и вновь телеграфные столбы уходят в синеющую, задернутую маревом степь...

Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясиновка — один за другим проезжаем эти хутора и слободы, с детства знакомые героям "Тихого Дона". С невеселыми думами проезжал здесь уставший от войны, ушедший из отряда Подтелкова Григорий Мелехов.

А вот и Вешенская — как на ладони открывается с высокого бугра и Базков. Сначала бросается в глаза старинный казачий собор, а правее — дом писателя. Спускаемся с бугра, и вот он — тихий Дон, паромная переправа, и мы в станице. В узкой улочке напротив собора скромный заезжий дом, приютивший нас. Из почты звоню писателю, договариваюсь о приеме. Шолохов приглашает к себе завтра утром.

За вечер успеваю обойти всю станицу вдоль и поперек, от собора к педучилищу, мимо старого дома писателя, на станичное кладбище. Возвращаясь, заглянул к первому учителю Шолохова Тимофею Тимофеевичу Мрыхину, познакомился с редактором газеты Каргиным, тут же наметили встречи с десятком других вешенцев. С зарей — на Дон. Волна обжигает прохладой. Освеженный, поднимаюсь мимо школы, где когда-то совсем короткое время учился в гимназии Шолохов, выхожу на уже начатую обновлением станичную площадь, оттуда — на рынок, к столикам под легким навесом. Вглядываюсь в лица станичников, вслушиваюсь в их речь и узнаю этих людей, словно прожил с ними целую жизнь.

К Шолохову иду уже с целым ворохом впечатлений, грудой вопросов, программой действия. Открываю калитку и, едва вступив на идущую к дому дорожку, опасливо задерживаюсь: со всех сторон, откуда только они и взялись, ринулись ко мне охотничьи собаки — борзые, гончие, легавые. Обнюхивают, облизывают, виляют хвостами, но кто знает их нрав. Одна уже и на плечи лапы бросила — не двинуться. Выручает появившийся на крыльце хозяин. Быстрый, подвижный, протягивает руку:

— Здравствуй! Как добрался?

Отвечаю, дескать, вполне благополучно, и мы усаживаемся в тени веранды, скрываясь от уже жаркого солнца.

Разговор поначалу не очень-то клеился, я не знаю, с чего и начать и получается так, что спрашивает больше Михаил Александрович: и почему забрался я так далеко от родных мест, и не скучаю ли по Волге, давно ли был в родных краях... Выясняется, что Михаил Александрович побывал там позже меня, правда, проездом через мои родные степи — за Уральск, в благодатные охотничьи места. Оживившись, стал расспрашивать меня о том, что я успел увидеть в Вешенской, какое впечатление оставила первая встреча с Доном.

— Как он, наш Дон-кормилец, в сравнении с Волгой?

— Поутру успел уже выкупаться в Дону, любовался его живописными берегами. Только хотел сказать обо всем этом, да вы

опередили меня. И вправду, Дон очень походит на Волгу, та же Волга, но в миниатюре... Волга величественней...

— Я же говорю, Дон камерней, — сказал Шолохов так, словно обиделся за свой тихий Дон.

Потом перешли к современной литературе. Напомню, что встреча происходила через несколько месяцев после XX съезда, на котором Шолохов выступил с речью о состоянии и задачах советской литературы. В ней содержались довольно резкие выпады в адрес руководства Союза писателей, суровые оценки некоторых секретарей — А. Суркова, “генсека” А. Фадеева. Вскоре, как известно, Фадеев покончил жизнь самоубийством. Шолохов был еще в Москве, участвовал в похоронах Фадеева, тяжело переживал потерю. На Дон он вернулся совсем недавно, и беседа наша происходила под этим впечатлением. Михаил Александрович вспоминал о давней дружбе с Фадеевым, часто возвращался к официальному заявлению о причине его смерти:

— Никакой необходимости в таком обосновании не было... Причины эти, как и все в нашей жизни, куда сложнее. Да и зачем укрываться за болезни писателя — не вся правда тут...

Еще раз я имел возможность убедиться, как внимательно следил Шолохов за всеми новинками зарубежных литератур. В беседе появлялись имена Хемингуэя, Олдриджа, Фолкнера, но особенно волновали писателя судьбы родной ему литературы, он с волнением и горечью говорил о современном ее состоянии, о слабом притоке свежих молодых сил:

— Немного ведь у нас молодых литераторов. Тендряков, конечно, чуткий к современности, самобытный писатель. Но нельзя же возлагать на него все наши надежды!?

Как всегда в переломные моменты жизни страны, Шолохов тревожился о положении дел в сельском хозяйстве. Судьбы крестьянства были ему всегда близки, а бюрократически-административный раж в перестройке деревни не мог не огорчать.

Но даже в нашей беседе, как я заметил, от обсуждения существенно важных вопросов писатель уклонился. Светлые и острые, всегда с живой искринкой глаза Шолохова как-то сразу померкли, угасли, похолодели, словно пеплом подернулись и стали безразличными. На какое-то время собеседник закрылся, ушел в себя. Мне подумалось, что Шолохов — трагическая фигура: слишком многое он видел в жизни, но не во все мог даже вмешаться, переменить то, что не было по душе...

VI

Когда я спросил, с чего начать знакомство с “натурой” романа “Тихий дон”, с географией его историко-бытовых событий, писатель назвал самые живописные здесь места, раскинувшиеся вниз по течению Дона, от Вешенской до Еланской. Завершая беседу, Шолохов напутствовал:

— Поглядеть тебе надо эти места, свои глаза — не чужие. И людей всяких среди моих земляков встретишь, и про меня всяких баек наслушаешься... Это уж твое дело, что на веру взять, что отсеять. Мы еще увидимся. И поговорим, и на вопросы твои отвечу. Глядишь, и на рыбалку вырвемся, и на стерлядку бы хорошо, да и на сазана зорьку можно было бы посидеть. Еще успеем сговориться. А сейчас иди в райком к Сетракову. У него горячее время, но в машине не откажет тебе. Позвоню я ему. Будь здоров, заходи.

В райкоме меня уже ждали. Василий Алексеевич принял радушно, познакомил с М. Д. Крамским, С. А. Никулиным, многими другими интересными людьми. В тот же день мы уже объезжали Вешенский район: сначала до Еланской, через Черную речку, а потом в Лебяжье, в места, связанные с “Поднятой целиной”.

Но я не злоупотреблял гостеприимством, решил смотреть сам, без посредников, и пешком отправился к указанным Шолоховым местам. От станичного вешенского собора пошел я той дорогой, которой

после принятия присяги возвращался с товарищами на родной хутор Григорий Мелехов. Правый берег буквально облеплен хуторами и станицами. Базки теперь соединяются с хутором Громки, у самой реки — Громченок, и вот в лучах утреннего солнца открылся хутор Калининский (б. Семеновский). Ничем, кажется, не примечательный хутор, под своим именем в "Тихом Доне" всего лишь несколько раз упоминается. Но меня влекло сюда с особой силой. Это — географическая точка хутора Татарского. Сюда именно Шолохов "привязал" его, отсюда идут детали окружающего героя романа мира.

Хутор Калининский спускается к самому Дону, здесь все изрезано плетнями огородов, разбросанных вдоль реки. В нижнем своем течении Дон особенно красив, действительно, тихий, величавый. Дорога идет почти у берега, а справа — лобастые меловые обрывы. И начинаются они у самого хутора.

Один из таких крутых спусков "меж замшелых в прозелени меловых глыб" привлекает особое внимание. Может быть, где-то здесь, на краю хутора, и стоял мелеховский курень. Может быть, где-то здесь Григорий и Аксинья повстречались как-то у Дона и, увидев на песке след остроносого гришкиного чирика, Аксинья любовно прикрывала его ладонью. Но я был далек от мысли, что писатель механически копировал именно этот спуск к Дону. Шолохов великолепно знал то, что только вот открылось перед моими глазами и живописал знакомую ему 'до мелких деталей местность как художник. Виденное вызывает в памяти страницы романа, и они еще больше волнуют своей конкретностью, художественным ощущением детали, почти зримо передающей никогда не бывавшему здесь человеку особенности "реального мира", в условиях которого живут герои романа.

Насколько же велико было мое разочарование, когда, пройдясь по хутору, я воочию убедился, что в Семеновском не было ни церкви, обнесенной каменной оградой, ни паровой мельницы, ни богатого купеческого дома и магазина со сквозными дверями, какие стоят на

площади хутора Татарского, — ничего такого здесь никогда не было. Может быть, и вправду напрасны эти поиски “географической зоны”, в которой происходит действие “Тихого Дона”?

На другой день объезжал я верхнечирские хутора. С песчаного увала открылся живописный вид на Каргинскую. Я так и ахнул, когда внизу, за Чиром, увидел большую станицу с просторной площадью в центре, еще и сегодня многими своими деталями напоминающую то, что известно читателям всего мира. Помните, Шолохов открывает вторую часть романа родословной вешенского купца Мохова, а завершает первую главу этой части описанием самого хутора Татарского: “На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слингой вывеской: “Торговый дом Мохов С. П. и Атепин Е. К.”

К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом сарай, саженях в двадцати от него — кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви — выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой с таким же палисадником — отца Панкратия — и коричневый (чтобы не похож был), с резным забором и широким балконом — отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с железными ржавыми петухами на крыше”.

И хотя Каргинскую, пожалуй, как никакую другую станицу, сильно потрепало время, все тут и теперь живо напоминает внешний вид и обстановку хутора Татарского. Нельзя забыть также, что здесь прошло детство автора “Тихого Дона”, невдалеке от пожарки Шолоховы жили, на площади — школа, в которой учился писатель... В “Тихом Доне” не раз изображен под своим именем “красивейший в верховых Дона” хутор Каргин, ставший станицей, опорным пунктом повстанцев.

Есть в “Тихом Доне” еще одно место с вымышленным названием, но и это место привязано географически очень точно. Это

имение Листинского — Ягодное. С ним связаны многие герои романа, и прежде других — работающие у старого пана в услужении Григорий и Аксинья. Читатель узнает, что имение это от Татарского верстах в двенадцати, а от Вещенской — в двух часах скорой езды, вдали от проезжих дорог. Обстоятельно выписаны в романе и общий вид имения, и дворовые постройки, большой старый дом в саду, за которым “серою стеною стояли оголенные тополя и вербы левады в коричневых шапках покинутых грачных гнезд”. Еще раньше это же имение, по всей вероятности, изображалось в рассказе “Лазоревая степь” (“Видишь, за энтым логом макушки тополей? Имение панов Томилиных — Тополовка”). Детали этих описаний напоминают имение Ясеновка, где в семье крепостных крестьян Черниковых родилась мать писателя. Здесь с молодых лет служила Анастасия Даниловна горничной у хозяина имения помещика Дмитрия Евграфовича Попова. Герой рассказа “Лазоревая степь” сообщает любопытные подробности: “Там же около и мужичий поселок Тополовка, раньше крепостные были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, огольцу, он рассказывал, как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещика. После отцовой смерти я заступил на его место кучером”. В связи с этим любопытна и оброненная в “Тихом Доне” деталь о хозяине Ягодного: “Любил старый генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал”...

Дважды появляется Ясеновка в “Тихом Доне” и под своим именем: первый раз это знакомый с детства Григорию хутор, второй раз — степной населенный пункт, находящийся в стороне от дорог, невдалеке от хутора Чукарина... Где-то здесь, “на развилке Чукаринской и Кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни”, у которой повстречал Михаил Кошевой возвращавшегося из немецкого плена Степана Астахова. Где-то тут же, невдалеке от Ягодного, “на развилке дорог, возле бурой степной часовни” догнала Аксинья покидавшего ее Григория и далеким чужим голосом просила прощения...

Не раз пришлось мне бывать и в этих степных местах, и во многих больших и малых хуторах и станицах по Дону. Бывал и в Ясеновке реальной — под таким названием и теперь живет хутор, отошедший к Серафимовичскому району Волгоградской области. И каждый раз все больше убеждаешься — в “Тихом Доне” даже самые маленькие хуторки, даже дороги, лога и балки, курганы и леса, пруды и ендовы сохраняют свои местные наименования, нет в романе других вымышленных названий, кроме Татарского и Ягодного. Шолохов нес в роман реалии самой жизни и одновременно сохранял за собой, как и всякий романист, право на вымысел.

Автор “Тихого Дона” создавал, если можно так выразиться, свою “географическую зону”, в которой происходит основное действие романа. Отсюда черпал он важные для художника детали и смелыми мазками располагал на большом полотне, создавая широкую реалистическую панораму жизни.

Шолохов не только переносил на Дон и концентрировал в хуторе Татарском детали быта и внешнего облика различных хуторов и станиц, но и населял этот большой, дворов в триста, хутор, руководствуясь теми же принципами, населял особенно нижнюю его часть “гнездами”, семьями, с которыми как с соседями связаны Мелеховы. Это семьи Астаховых, Кошевых, братьев Шумилиных (Шамилей): Аниушки, Христони и других.

Раньше я и подумать не мог, что в своих поездках по Дону встречусь с людьми, одни из которых сохранили в романе свои имена и фамилии, другие вошли в него под именами вымышленными. Если бы мне сказали, что я встречусь с живыми героями “Тихого Дона”, я бы не поверил. Но так было. Назову только некоторых — слесарь из хутора Калининского Давид Михайлович Бабичев (Давыдка-вальцовщик в “Тихом Доне”), учительница из хутора Базки Пелагея Харлампиевна Шевченко, дочь одного из прототипов главного героя романа, близкий писателю человек Мария Петровна Бабанская, первый председатель ревкома в Каргине Федор Стратонович Чукарин, многие десятки старожилов. В Лебяжьем они наперебой

рассказывали о двадцатипятитысячнике Андрее Плоткине, в Плешаках о братьях Дроздовых, в Каргинской о Михаиле Иванкове, встретившем первую мировую войну в одном разъезде с Козьмой Крючковым... Почти во всех хуторах знали о казаке легендарной храбости Харлампии Васильевиче Ермакове, судьба которого стала известна и Шолохову, и он опирался на нее, создавая образ эпического героя "Тихого Дона" ... Да мало ли еще было встреч!

Об одной из них не могу умолчать.

После разговора с Давидом Михайловичем Бабичевым, рассказавшим много интересного о машинисте плещаковской мельницы Иване Алексеевиче Сердинове (в "Тихом Доне" — Котляров) и его помощнике Валентине (в романе — Валетка), секретарь Базковского райкома повез меня на хутор Плещаки. Ни мельницы, ни домика завозчицкой, где с 1915 года жила семья Шолоховых, там давно уже не было — почти у самой горы осталась лишь размытая дождями, поросшая травой яма. Таких мельниц мне в своей жизни приходилось видеть десятками, были мы на днях на такой же мельнице в Еланской. Слабое ее дыхание и сейчас едва слышалось из-за Дона. По рассказам вешенцев, еланскую мельницу собирались запечатлеть в новом фильме С. Герасимова по роману Шолохова, воспроизводя на экране сцену дикой драки с иногородними на мельнице хутора Татарского.

Теперь же старожилы из Плещаков воспроизводили быт своего хутора и рисовали сочно, живописно, с юмором картины комического и драматического содержания, с именами и фамилиями, со сложными судьбами хуторян. Тут-то я и услышал впервые о семье Дроздовых, с которыми Шолоховы были дружны довольно крепко, некоторое время даже жили в одном доме с ними. Знал эту семью и Шолохов-гимназист, приезжавший сюда на каникулы уже не одно лето. На его глазах судьбы братьев Алексея и Павла Дроздовых представили во всем драматизме, особенно во время развернувшейся на Дону необычайно ожесточенной гражданской войны.

Старожилы рассказывали, что в первых же боях при вступлении частей Красной армии в хутора Еланской станицы, погиб здесь старший брат Дроздовых Павел:

— Сложил голову почти так, как Петр Мелехов в "Тихом Доне"... Помните, еще в "Донских рассказах" Шолохов изображает братьев Крамских. Это он наших хуторян Дроздовых имел в виду, — рассказывал Иван Силков. — Писатель досконально знал эту семью, ее быт, родственные отношения, связи с хутором. Жаль, что никого из родичей Дроздовых не осталось. Живет тут тетка ихняя, да и та к сыновьям подалась. Разве вот старик Кривошлыков расскажет. Хитрющий человек, повидал жизнь, много знает, но к нему еще под хорошую руку надо попасть.

В жаркий полдень, нещадно палимые солнцем, пошли мы к Дону на поклон к Кривошлыкову. Улиц тут уже и не отыскать, одни бугры от бывших куреней, поросшие выгоревшей полынью. У старика Кривошлыкова подворье огромное, видно, что жили здесь когда-то зажиточно — добротные каретники, сараи, конюшни, нарядный флигель с веселыми оконцами, с расписными ставнями, а на месте когда-то стоявшего здесь круглого куреня — так на Дону называют добротный крестьянский пятистенок — густо заросший лебедой бугрище. Самого хозяина застали в каретнике у высоких ларей с мукой. Вставлял он в нее железные стержни, которые, как потом выяснилось, не дают муке слежаться.

Кривошлыков старик уже глубокий, седой, как лунь, и лицо от самых бровей до сходящейся клином бороды сплошь заросло мелким седым волосом и, казалось, только сквозь его белизну у самых глаз да еще на открытом взгляде просвечивает молодая розовая кожа. В глубоко запавших, слегка прищуренных и потому казавшихся совсем крошечными, глазах, терявшихся в седых зарослях, под нависшими бровями, тлел, заметный даже в темноте каретника, живой огонек, а когда старик поворачивался к широкому солнечному проему, видно было, как молодо и горячо блестели его глаза. Разговор у нас явно не клеился.

Мудрый, себе на уме, человек этот, много повидавший на своем веку, много переживший, был мне симпатичен, но я не знал, как подступиться к старику. О Шолоховых и Дроздовых он знал достаточно много, но то ли не понимал, что мне нужно, то ли, скорее всего, уклонялся от доверительного разговора. Что-то скромно рассказывал о себе, вспоминал о своем племяннике, известном на Дону революционере Михаиле Кривошлыкове, родом из этих мест, со станицы Еланской. После затянувшейся "словесной разминки" я почему-то заговорил о его флигеле, со вкусом украшением, о добрых дворовых постройках. Вижу, старики оживился, что-то в его душе тронулось, какие-то струнки заскрипели, и он заговорил:

— Это что, вот дом у меня был — загляденье, крутый, рубленный в лапу, ошелеванный. В революцию-то Мишка-племянник и говорит: "Не красуйся, дядя, на виду у хуторян, не выказывай довольство свое, другое нынче время". А тут сосед Андреан поедом ест: "Продай да продай курень". Ну и продал. Андреан перенес курень к себе на баз, да недолго пожил в нем. Раскулачили Андреана, в Соловках фатеру дали. Там и приказал долго жить... Вот я досе и живу, — и глаза Кривошлыкова опять искристо засветились, словно какие-то чертики в них забегали. И было в этих глазах столько смысла, понимания "веления времени"!

Никто и никогда не называл этого плашаковского мудреца среди тех, с кого Шолохов рисовал своих героев, да и не был он таким героем, но знание именно таких людей помогало писателю выражать время в "Тихом Доне".

VII

Чуть позже рассказывал я Михаилу Александровичу о встречах с живыми его героями, о беседах с людьми, сохранившими в романе свои имена. Писатель подтвердил, что многих он знал лично.

— Я жил и живу среди своих героев. И это, пожалуй, главное. Вне этой среды и обстановки, о которых пишешь, вряд ли можно

создать что-либо порядочное. Мне бы, во всяком случае, без этой связи не написать своих романов.

Беседа носила на этот раз какой-то особый характер, откровенный, доверительный. Михаил Александрович слушал меня, не выпуская папиросы из рук, стряхивая пепел и вновь разжигал потухшую папиросу или прикуривал другую... Я пытался догадаться, что вызывают в душе писателя мои рассказы о только что виденном, о замеченных особенностях людей, о их судьбах. Еще не все удавалось связать в целое, впечатления мои были острыми, яркими, но все-таки разрозненными. Я простодушно делился своими чувствами и боялся показаться наивным. И осекся... Исчезли давно продуманные, заготовленные еще дома вопросы, а возникали совсем случайные, сам диву даешься — можно ли про такое спрашивать...

Еще до приезда наслышался я о нынешнем паломничестве к Шолохову, и теперь убедился, как тянутся к писателю люди со всех краев российских, как едут к нему чаще с болью, бедами своими, чем с радостью. В Доме крестьянина со мной жили такие люди — два пастуха, фельдшер издалека, убитая горем женщина... И всем хотелось попасть к писателю. Те, что понахальнее, вламывались без спросу — просто так, без дела, чтобы поглядеть на знаменитость. При мне же какая-то горстка велосипедистов совершила пробег, завернула в Вешенскую и — ни свет ни заря — к писателю: принимай, дескать, коль народный. Шолохов вышел на балкон, кивнул, пожелал счастливой дороги. Не понравилось — не так принял...

В это же время валом валили в Вешенскую киношники, актеры и режиссеры, связанные со съемкой нового фильма "Тихий Дон". Райкомовцы не без юмора рассказывали, как пробиралась иная "на-чепуренная" актриса через занесенную песком площадь к дому писателя. Сделает шаг-другой и стоит на одной ножке, покачивается под пестрым зонтиком, вытряхивает песок из городской туфли-лодочки. Сделает еще пару шагов и вновь снимает свои лодочки одну за другой — зрелище забавное и незабываемое, для станичников пересудов

надолго хватало... И посыпает Михаил Александрович такую актрису изучать жизнь в какой-нибудь дальний, затерявшийся в степи хуторок...

Не все гладко получалось и со сценарием фильма. Многие важные в большом повествовании эпизоды оказались погубленными в сценарии. С этим писатель все-таки смирился, но вот прочтение кульминационных и особенно трактовка финальных страниц романа вызвали у него самые резкие возражения. Михаил Александрович, как я теперь понимаю, только что, может быть, незадолго до моего приезда, познакомился со сценарием фильма. Впечатления были совсем свежими и, передавая их, писатель с грустью словно заново переживал трагическую, а теперь припудренную судьбу Григория Мелехова.

Как известно, герой эпического повествования перед самой амнистией возвращается из лесу на родной хутор и встречает у спуска под гору Мишатку. Григорий в сценарии усаживал сына на плечи и шел вверх в гору, навстречу занимающейся заре. Будто страшный на вид отец и не стоял на коленях перед Мишаткой у ворот родного дома, не держал на руках сына. Будто и не было рядом с ним автора, скрупульно и величаво итожившего судьбу своего героя: “Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под огромным солнцем миром”. Вместо этого в сценарий пробиралась какая-то фальшивь, откровенно плакатная символика, чуждая самой природе автора “Тихого Дона”.

Не могу здесь, к сожалению, воспроизвести дословно речь писателя, стерлись в памяти подлинные его слова, а главное, исчезла интонация, с какой все это говорилось. Но помню совершенно четко, что речь шла о “счастливом” finale сценария, о “плакатной символике”, а все это никак не устраивало Шолохова, огорчало, даже раздражало непониманием художественной сути финала. И еще: Михаилу Александровичу хотелось, чтобы и я понял это его состояние, смысл такого отношения к финалу. И он тут же неожиданно спросил меня:

— А ты-то понимаешь, как трудно такая правда давалась?..

Договорились о новой встрече через короткое время и о намерении в ближайший день двинуться на Хопер, на рыбалку. Отложив самые дальние поездки, я ожидал приглашения и готовился к новым беседам. Приглашения не было, и я решился вновь заглянуть к писателю. Дело было к вечеру, и меня пригласили ужинать, а потом, совсем неожиданно — играть в подкидного с условием, что проигравший непременно пролазит меж узкими изогнутыми ножками длинного обеденного стола. Михаил Александрович вовлекал в это дело и Марию Петровну, уговаривал, ставил для нее какие-то снисходительные условия, но она решительно отказалась и покинула нас.

Мне ничего не оставалось делать, как познавать неизведенное. Несколько смущала не очень подходящая для путешествия под столом одежда — новый, тщательно вытужденный чесучевый костюм. Михаил Александрович окидывал меня взглядом с головы до ног, оглядывал с какой-то даже укоризной — вот, мол, вырядился — и тем вводил в великое смущение.

“Что ж, в подкидного, так в подкидного, — думал я про себя — под стол, так под стол... Эка важность чесучевый костюм!”

Михаил Александрович словно подслушал эти мои отчаянные размышления и, улыбаясь, приподнял скатерть на столе:

— Не бойся за свою чесучевую пару. Маша вычистила там и для себя.

В это время вальяжно вошла, чтобы убрать со стола, сама Маша — безмерно располневшая повариха, и Михаил Александрович предложил ей включиться в готовящееся состязание. Она испуганно выставила пышные свои ладошки у самой груди, зарделась, поспешно, насколько могла, развернулась и поплыла на кухню. Поначалу я не вылезал из-под стола, а Михаил Александрович, приподняв скатерть, заинтересованно следил за добросовестным прохождением всех этапов, давал советы, сыпал всякими шутками-прибаутками, а потом рассказывал веселые житейские истории, чем смущал меня еще больше. Правда, и я вскоре стал “набирать силу”, выигрывать, и Михаил

Александрович добросовестным образом проделывал тот же путь... И так продолжалось заполночь.

С ужасом понял я, что и сегодня не получу ответов на давно заготовленные вопросы, но Михаил Александрович, прощаясь, назначил встречу на завтра.

VIII

25 июня я пришел к Шолохову с кипой бумаг, захватил с собой привезенные из дома и еще не публиковавшиеся материалы о запрещении в Венгрии во времена Хорти нового издания "Тихого Дона". Кроме того, в этот день пришла в Вешенскую верстку ленинградского сборника статей "Михаил Шолохов".

Было очень душно, и мы расположились на открытой нижней веранде. Тут же, на легком дачном столике, развернул я свои бумаги и стал знакомить писателя с материалами, полученными из Будапешта рукописным отделом Института мировой литературы.

Начальник генштаба венгерской армии писал 2 мая 1942 года венгерскому королевскому министру юстиции: "Имею честь обратить почтенное внимание Вашего превосходительства на книгу "Тихий Дон", автор которой Михаил Шолохов — самый выдающийся живой писатель Союза Советских Социалистических Республик. Многие части этой книги я считаю опасными, потому что они содержат скрытую большевистскую пропаганду: пишут о справедливой сущности большевизма, о его гуманности и т. д., показывают большевиков в таком свете, как верующих в бога хороших и справедливых людей, помогающих бедным, и которые даже с врагами не обращаются бесчеловечно, в то время как в противоположность им белые зверски обращаются с красными, кроме того, в романе имеются также и антивоенные пацифистские части... Я считаю дальнейшее распространение книги "Тихий Дон" опасным с военной точки зрения и потому обращаюсь с почтительной просьбой к Ваше-

му превосходительству рассмотреть вопрос воспрепятствования дальнейшего распространения этой книги и ее изъятия, тем более, что книга, наряду со скрытой коммунистической пропагандой, как хорошо написанная, показывает русскую литературу в благоприятном свете".

Особое внимание Шолохова привлекло приложение с обильным перечислением "подлежащих возражению" страниц его романа: "Книга восхваляет проповедника коммунистических идей Маркса", "В книге говорится о тирании казаков и царской власти", "При царской власти у народа не было прав", автор пишет, что "немцы грабят", "венгры бегут от русских", "правда на стороне красных" и т. п. Михаил Александрович попросил оставить ему копию этого документа.

Много раз доводилось слышать, что Шолохов проявляет полное безразличие к публикациям о нем и его романах, но сам я не раз имел возможность убедиться в обратном. Писателю были хорошо известны многие критические работы о его произведениях. Знал он и о подготовке к печати ленинградского сборника, но когда я показал верстку этого сборника, он довольно бегло пролистал ее, я бы сказал даже, с каким-то нарочитым безразличием. Среди публикаций привлекло внимание писателя лишь факсимильное воспроизведение "Письма Союза писателей Китая" (22 декабря 1954 года), а в тут же опубликованном переводе фраза: "Китайские писатели учатся на его произведениях методу социалистического реализма". Михаил Александрович хитро сощурил глаза и без промедления съязвил:

— Ну, а они-то знают, что это такое? Знают, чему учатся?

За время нашей беседы небо нахмурилось, резкими порывами налетал ветер, вырвал из-под руки и разметал по веранде верстку. Обозвав меня сухоруким, Михаил Александрович помог собрать листы, и мы ушли в дом.

К ужину появился Александр Бахарев. Видел я его впервые, хотя и знал как журналиста, корреспондента "Правды" по Ростовской области. Когда Михаил Александрович познакомил нас и

сообщил о цели приезда Бахарева (в это время готовился к выходу в свет первый номер газеты "Советская Россия"), я понял, что поездка на Хопер не состоится. Так рухнули в одночасье мои планы побывать с писателем на природе, поговорить по душам, понаблюдать за ним исподволь, понять его лучше...

Шолохову предстояло в эти дни сочинять приветствие новой газете, а спешные журналистские заказы давались писателю трудно. Совсем отказаться он не мог, а согласившись, томился, нервничал, уклонялся от дела и оставался собой крайне недоволен. Но открытию новой газеты он радовался, долгое ее отсутствие считал несправедливым, даже ущемляющим права великого народа. "В добрый час!" — так вскоре приветствовал Шолохов выход в свет газеты "Советская Россия", призванной, по его словам, широко и всесторонне освещать заботы и нужды, трудовые достижения России.

IX

Слышу наконец обращенные ко мне слова:

— Задавай свои вопросы... Так о чем ты хотел спросить?

И я не верю тому, что слышу, и уже не знаю, о чем спрашивать, а заготовленные вопросы кажутся мелкими, и в сущности уже ни о чем не надо спрашивать.

Ответы писателя я свел к шести вопросам, но задано их было больше. Особенно много пробелов обнаруживалось в долитеатурной биографии писателя. Здесь и вопросы о родных и близких, о раннем детстве, проведенном в Кружилине, об учебе в станице Каргинской и о роли впечатлений того времени для творчества, о гимназических годах в Москве и в Богучаре, и о жизни на хуторе Плещакове Еланской станицы в годы революции и гражданской войны, о продовольственной службе в станицах Каргинской и Букановской и участии в борьбе с бандами, о жизни в Москве с осени 1922 года... Одним словом, вопросов было много. Были и совсем

частные — о работе драматического кружка в Каргинской и пьесах для него, об обстоятельствах встречи с Махно, о продолжительности жизни в Москве и тому подобное. Ответы на них опять-таки казались мне важными для прояснения особенностей творчества писателя, того пути, которым он шел к своим произведениям, прежде всего — к “Тихому Дону”.

Вот ответы, как я их записал тут же, 25 июня 1956 года, и привел в порядок эти записи уже в Доме крестьянина:

“Родился я в Кружилине, но лет пяти был перевезен в Каргинскую, куда переехали на постоянное жительство родители. Лет семи поступил в Каргинскую церковно-приходскую четырехклассную школу, но не окончил ее. Поступил в подготовительный класс Московской гимназии Шелапутина. Была в свое время такая гимназия. Учился в Москве года два-три, а затем продолжал учение в Богучарской гимназии. Несколько месяцев учился в 1918 году здесь, у себя, в Вешенской. Всего довелось окончить четыре класса гимназии.

С начала 1920 года жил в станице Каргинской, работал в станичном ревкоме, был добровольцем продотряда, делопроизводителем Каргинской конторы “Заготзерно”. Здесь же и произошла случайная встреча с Махно. В это же время работал по переписи населения, ездил по хуторам, был на хуторе Латышеве учителем по ликвидации неграмотности среди взрослых.

В 1922 году работал продинспектором в станице Букановской, Царицынской губернии. Может быть, в конце этого года, точно не помню, поехал в Москву и часто бывал там в это время вплоть до 1925 года. С 1926 года постоянно живу в Вешенской”.

Шолохов явно не хотел говорить о себе. Какие-то вопросы даже раздражали его, он будто бы не понимал их смысла и значения в моей работе, прихотливого переплетения биографических фактов с творческими проблемами. Кроме того, Александр Бахарев явно оказывался в нашей беседе “третим лишним”, а я, начиная с целой серии биографических вопросов, допустил тактический просчет. Шолохов отвечал отрывочно, сухо, многие вопросы обошел молча-

нием, потому что, по его словам, что-то в его памяти совсем стерлось. Конечно, художник — и это крайне важно — вправе иметь и какие-то свои секреты.

Остальные мои вопросы связаны были преимущественно с творческой историей романа Шолохова. Отсутствие рукописей, утраченных в годы войны, заставило меня спрашивать о возникновении и эволюции авторского замысла, чтобы прояснить особенности его воплощения.

— Расскажите о работе над первоначальным замыслом — “Донщина”.

— У меня был собран большой материал о корниловщине, но четкого плана его реализации не было. Да и замысел потом поменялся в процессе работы.

— В чем сущность перемены замысла “Тихого Дона” уже во время написания романа?

— Готовых рецептов не знаю. В процессе работы от многого приходилось отказываться, освобождаться от лишнего. Главное, конечно, определяла судьба Григория Мелехова. Особенно много я работал над четвертой книгой, завершившей роман. Написано было и о пребывании Григория Мелехова в Первой Конной, но потом пришлось убрать эти главы, глухо сказать об этом периоде жизни героя, так как нужно было показывать глубже жизнь самой Первой Конной, а это выходило за пределы моих планов, перегружало роман, приближавшийся к завершению.

Много написано было и о Листницких, но эти главы пришлось убрать, сказать о судьбе Евгения Листницкого коротко. Да Листницкий ведь не мой герой, чтобы расписывать о нем.

— Как шел сбор материала для “Тихого Дона”?

— Я изучал обильную мемуарную литературу (мемуары Деникина, Краснова и других), много работал в архивах, но главное — жил среди своих героев. Без этого я не мог бы написать роман. Большую роль в работе сыграли устные рассказы казаков, участников и очевидцев событий, да и сам я кое-что видел своими глазами,

хорошо знал многих людей, ставших героями моего романа. Скажем, Фомин. Мне пришлось жить с ним в одном хуторе, за Доном, около двух-трех месяцев, часто вести горячие споры на политические темы. Но главное, конечно, воплощение судеб многих людей в образе Григория Мелехова.

Использовал я и бытовой устно-поэтический материал, сборники Пивоварова, Савельева и особенно Листопадова, его работы перекрывают собрания первых двух. Приходилось читать многие издания новочеркасских типографий. Стали они теперь библиографической редкостью.

— Как шла работа над последней книгой “Тихого Дона”, почему она долгое время не появлялась в печати?

— Закончил я ее, может быть, в году 35-м, но долго перепроверял написанное, шлифовал. Возникало в это время намерение написать еще одну, пятую книгу романа.

— Когда начали писать и когда завершили работу над первой книгой “Поднятой целины”?

— Зачем тебе это нужно — когда начал, когда кончил. Да и не помню я. А вот в печати первая книга этого романа долгое время не появлялась. В редакции мне предлагали выбросить сцены раскулачивания, кое-что еще. Я обратился за помощью в ЦК партии, к Сталину, и только потом книга увидела свет...

После этой встречи, оставившей в памяти большой след и дававшей не один повод для размышлений, я опять много ездил по обоим берегам Дона. Был еще раз на родине писателя в Кружилине, побывал на родине его матери в разоренной Ясеновке, в станице Еланской — на родине Кривошлыкова, на хуторе Крутовском Усть-Хоперской станицы — на родине Подтелкова... Встречался со старожилами, беседовал со многими интересными людьми, участниками развернувшихся здесь больших событий гражданской войны и коллективизации. Многие дороги между станицами и хуторами исходил пешком. И все, что видел и слышал в эти дни, записывал.

Возвратившись как-то в Дом крестьянина после долгого отсутствия, узнал я, что Михаил Александрович меня разыскивал, просил быть дома. На другой день он заехал, и по утреннему холодку отправились мы через вешенские пески и молодые посадки сосен к Еланке. Дорога шла по над Доном, а у самого Хопра резко сворачивала на север, к Букановской. Ехали мы через те места, где развертывались самые ожесточенные схватки и в годы гражданской войны, и во время коллективизации. Здесь же, в Лебяжьем, председателем колхоза был рабочий Андрей Плоткин, ставший одним из прототипов Давыдова в "Поднятой целине". В этих краях после окончания Великой Отечественной войны встретил писатель человека трагической судьбы, потерявшего на войне всю семью, одинокого, гонимого несчастьями по земле, и сделал его героем "Судьбы человека".

Были мы и в Еланской, и в Лебяжьем, спускались к Дону под его обрывы, беседовали с местными жителями (вернее, беседовал Михаил Александрович, а я присутствовал при этом, наблюдал, слушал), но нигде и речи не заходило о творчестве писателя. Шолохов ничем не напоминал о своей профессии. Казалось, разговаривают люди, знающие друг друга давно. Какое-то время они не виделись и теперь им интересно, что же произошло за это время. Казаки люди открытые, гордые, на язык скорые, за словом в карман не лезут, но я заметил, что многих что-то сдерживает, а некоторые, может быть, осознают разделяющую их дистанцию.

В этих беседах исподволь приглядывался я больше всего к писателю, к тому, как он держит себя, общается с людьми, относится к повседневно окружающему его миру. По этому поводу я много думал и позже, старался суммировать свои наблюдения, понять самое существенное в облике этого до сих пор, на мой взгляд, совсем неразгаданного и вот так сразу и передо мной, разумеется, не раскрывшегося человека, как он, очевидно, сокровенными своими

сторонами не раскрывался и перед многими другими людьми, особенно если он знал, что они интересуются им...

Неподдельную простоту я бы все-таки назвал в первую очередь как качество, определяющее сущность этого человека, весь его облик. Простота эта не показная, а органическая, потому что она сказывалась во всем — во внешнем облике, в манере разговаривать, в слове, в жесте, в сиюминутности и непосредственности выражения и вместе с тем — вдержанности. Не сразу приходишь и к пониманию мудрости писателя. Он не стремится показать себя, блеснуть умом, хотя за иной его шуткой осознается вдруг целая пропасть размышлений, истинный смысл которых становится понятен позже. Как и простота — не намеренная упрощенность, так и мудрость его — природное естество этого человека. Острая наблюдательность и необыкновенная память — это я уже и раньше заметил — слагаемые этой мудрости. Конечно, это профессиональные качества любого писателя, но у Шолохова они чувствительней во сто крат, они поражают точностью, совершенством. Писатель видит детали, которых окружающие не замечают,помнит то, что слышал десятки лет назад с такими подробностями, какие человек, поведавший их писателю, давно уже забыл.

По каким-то оброненным фразам, по настроению Шолохова, по тому раздражению, когда его отрывали от письменного стола, я понял, что он много работает, завершая вторую книгу "Поднятой целины". Знал я и о том, что возвращается он к работе над романом "Они сражались за Родину". Специального разговора об этом не было, а вопросов я старался не задавать. Из рассказов близких мне журналистов, побывавших в Вешенской вскоре после меня, я узнал о работе писателя над рассказом "Судьба человека". В их отчеты были вкраплены отдельные фразы, обращенные к Михаилу Кокте, Владимиру Крупину, Александру Бахареву, и о работе над романами.

Во время этой поездки не раз загорались глаза Михаила Александровича, когда видел он не им пойманного сазана. Страсть рыбака и охотника была в нем всепоглощающей, и я, читая вскоре в "Прав-

де" новые главы романа "Они сражались за Родину", видел ее воплощенной в образах. А о драматических событиях великой войны автор рассказывал так сочно и живописно, настолько все это было цельно, завершенно, сделано художником.

XI

А на рыбалке я все-таки побывал. Перед самым отъездом, думаю, не без указки писателя, пригласили меня на стерляжью уху. Было это под самой Вешенской, на мысу, что почти против дома Шолохова. Приехали мы туда к вечеру на рыбколхозном катере, а возвращались на рассвете. Не собираюсь описывать здесь ни эту незабываемую вечернюю зорьку, ни невиданной красоты рассвет на Дону, ни саму золотую стерляжью уху, какую я ни до того, ни после уже никогда в жизни не едал. Главное было в трогательной открытости общения с людьми и природой. Все это, во всяком случае, сказалось на моем восприятии "Тихого Дона".

Вскоре пошли дожди, в Вешенском районе начали убирать картошку, но поля и дороги раскисли, и дело не ладилось. Когда я зашел к Михаилу Александровичу попрощаться, в кабинете его телефон трезвонил почти без передышки, звонили из области о невыполнении районом планов, крупный разговор вел писатель и со своим райкомом. Его первый секретарь Василий Алексеевич Сетраков вместе с председателем райисполкома вызывались, как тогда говорили, "на ковер" ... Уезжал и я с ними до Миллерово.

XII

Конец пятидесятых — начало шестидесятых годов... Время это было самым напряженным в творческой и общественной деятельности Шолохова. Появилась "Судьба человека", завершена была вторая

книга "Поднятой целины". "Комсомольская правда" не без претензий на сенсацию извещала о завершении романа о войне и передаче рукописи издательству "Молодая гвардия".

Мне в эти годы доводилось встречаться с Михаилом Александровичем редко и почти всегда — на людях. Приехав в декабре 1958 года в Москву на Учредительный съезд писателей России, я рано утром, чтобы застать Шолохова дома, позвонил на Староконюшенный и с радостью услышал его голос. Он спрашивал о новостях, делах и планах, а когда речь зашла о возможной встрече, опять пожаловался на отсутствие времени и закончил:

— Впрочем, вот что. Сегодня я буду на съезде. Заходи в кулуары президиума, поговорим.

В президиуме съезда Шолохов появился в середине дня. Его встретили стоя долгими и бурными аплодисментами. Все Юпитеры устремились к нему, и он, поежившись, сидел какое-то время в их свете, словно бы по обязанности, потом поднялся и вышел. Тут же и я, как и договорились, направился в комнаты президиума. И открылось здесь поразившее меня зрелище. Шолохов был окружен со всех сторон какими-то случайными шумными людьми, они хватали его под руки, куда-то тащили... Михаил Александрович разглядел меня через эти головы, слегка кивнул, недоуменно пожал плечами и жест этот означал: "Сам видишь, я — в неволе и ничего поделать не могу". Набежали фотокорреспонденты, в свете ярких вспышек защелкали затворы фотокамер. Не знаю, как Михаил Александрович выбрался из этого плена, но на съезде он больше не появлялся.

Может быть, в этот раз, а скорее всего на другом писательском съезде видел я Шолохова в том же Колонном зале Дома Союзов буквально облепленным неизвестными мне людьми. Они шли подковой, края которой сильно загибались вперед, оставляя писателя в центре этой подковы. Стиснутый по бокам беззастенчиво разглядывавшими его людьми, которые только что на плечах не висели, он едва продвигался к съездовской сатирической газете, томился в пленах нелепой свиты. Кто-то из совсем бесцеремонных литераторов

пытался разорвать "подкову", претиснуться к Шолохову и, никого не стесняясь, выкрикивал: "Дайте же около славы потереться!". Нет, совсем неслучайно Шолохов не жаловал такую литературную среду, избегал ее всячески.

А в Вешенскую началось паломничество. Ехали туда со всего света, ехали и наши писатели, и писатели из-за рубежа, и молодые, и всемирно известные, не было отбоя от журналистов и издателей. Самого же писателя не всегда и дома застанешь — многочисленные поездки в Скандинавские страны, в Америку, Англию, Францию, Италию... Ранней осенью уже собирается Михаил Александрович с Марией Петровной на охоту в излюбленные свои казахстанские степи. Кстати, туда и пришла к нему весть о присуждении Нобелевской премии за "Тихий Дон".

В это время наш "Шолоховский семинарий" (так мы называли с Федором Абрамовым эту книгу в процессе работы) вышел в свет двумя изданиями и получил большую прессу. Книга была начинена привезенными из Вешенской материалами, они впервые вводились в научный оборот и вскоре пошли гулять по страницам газет, журналов, научных изданий чаще всего без всяких ссылок. Доходили до нас и добрые слова от самого Михаила Александровича. Теперь мы уже вместе подумывали о том, как выбрать время и съездить в Вешенскую, застать там писателя. У меня уже была на руках творческая командировка Сюза писателей на целых два месяца, но поездку каждый раз приходилось почему-либо откладывать...

Когда издательство "Детская литература" предложило мне сделать альбом-выставку для школы о творчестве Шолохова, я тут же согласился, вспомнив обещание Михаила Александровича помочь иллюстративным материалом из семейного альбома. Но сколько я не писал в Вешенскую об этом, ответа не было. Послал, помнится, и рукопись — то же самое, ни единого слова. Писатель явно отстранялся, как я понимал, от какого-либо участия в этом издании, не хотел, видно, "рекламировать" себя. А издательство без благословения писателя не решалось издавать такую книгу, смущали некоторые имена и

иллюстрации, в частности, фотографии помпезных митингов в Вешенской. Можно было понять издателей.

Книга “Михаил Шолохов. Жизнь и творчество. Выставка в школе” была уже в “синьке”, про недавние визиты в Вешенскую из нее уже убрали целые страницы, а перед подписанием в печать я попросил дочь писателя С. М. Туркову-Шолохову посмотреть работу, чтобы избежать каких-либо совсем явных оплошностей. В конце 1964 года книга вышла в свет, и я тут же послал ее в Вешенскую. Вскоре пришло оттуда письмо, которое публикуется здесь полностью:

“Дорогой Виктор! Все не так уж плохо, но слишком много хвалебного. Похвалы “переваживают”, как некогда (когда ты был молодым и бравым офицериком), “переваживала” всю машину пушки на твоей самоходке.

Благодарю и кланяюсь, а еще желаю в Новом году всего самого доброго. Увидишь Железняков — передавай им привет.

6.1.65.

М. Шолохов.”

В этом особенно дорогом мне письме (не очень-то стремятся писатели объективно оценивать работы о самих себе!) раскрывается прирожденная скромность автора. И еще: есть в нем чуткая память художника и человека. Он не только не забыл, о чем я рассказывал ему почти четверть века назад. Рассказанное воплотилось теперь в образ, с помощью которого писатель выражает свое отношение к моей работе.

Вскоре я получил приглашение принять участие в юбилейных торжествах в связи с шестидесятилетием Михаила Александровича. На подъем я тогда был еще легок, сборы недолги. В Колонном зале Дома Союзов собралось много народа — родственники, друзья, читатели и почитатели, зарубежные гости. Мы с правдистом Александром Навозовым устроились основательно, у самых подмостков, чтобы иметь возможность вблизи наблюдать, как будут развертываться юбилейные события.

Открывал вечер и вел его Константин Федин, особенно интересно говоривший о художественной смелости и новаторстве Шолохова. С докладом выступил старый правдист, близкий Шолохову человек, Юрий Борисович Лукин. Очень мягко, даже смущаясь, напомнил он, что не так уж просто вслух высказывать свои мысли о творчестве писателя-классика, когда он сам сидит тут же и все слышит. По его словам, большое сердце художника оказалось способным вместить в себя громадный мир человеческой жизни в смене времен: “как много принесло в себя большое сердце писателя-человеколюбца — судьбу всего родного народа, его тяготы и беды, принесенные войной, его раны и утраты, его великое мужество и нравственную чистоту, с которыми он выстоял во всех испытаниях”.

В этом самом месте и вспомнил докладчик о “глубоко личном” — о матери писателя Анастасии Даниловне, о гибели ее в Вешенской во дворе своего дома на пришедшей сюда войне. Как будто угадывая и мои желания, Юрий Борисович произнес слова, после которых поднялся весь зал: “Сегодня, когда мы отмечаем шестидесятилетие всемирно известного писателя, от имени тех, уже немногих, кто видел, знал мать Михаила Александровича, говорил с нею, помнит ее, смею просить вас всех, наши товарищи и наши гости, сейчас, стоя, минутой молчания почтить ее память”.

Желающих сказать свое слово было много. Выступали и русские писатели, и писатели из братских республик, очень трогательно звучало по-русски слово Пабло Неруды... Не мог я только рас слышать, понять смысл выступления Олеся Гончара, хотя находился совсем рядом. Он был единственным, кто не пожелал воспользоваться родной речью юбиляра и лишь невнятно проговорил что-то из написанного заранее...

Я наблюдал за Михаилом Александровичем. Он сидел не шелохнувшись. Когда его начали активно приветствовать две Аксиньи — Цесарская и Быстрицкая — он пошатнулся, слегка отстранился, не зная, как ответить на людях на их благодарные поцелуи.

И совсем уже растерялся, когда сама Фурцева испрашивала у Марии Петровны разрешения обнять юбиляра. Потом все утихло, вошло в свое русло. Михаил Александрович рассеянно посматривал в зал, задерживался на чем-то, поглядывал куда-то заинтересованно, затем взгляд его скользил совсем будто бы безразлично по самым дальним рядам и все-таки что-то отмечал — это отражалось на его лице...

Временами мне даже казалось, что юбиляр почти не слушал речей, не вникал в них, что ему как-то одиноко и тоскливо. И тут он заметил меня и понял, что я наблюдаю за ним, — улыбнулся и пригрозил мне кулаком, незаметно, у самой скатерти, прикрывавшей стол...

Вторую половину шестидесятых годов мне почти не приходилось специально заниматься творчеством Шолохова, а только в связи с изучением русского советского романа. Мы почти не виделись, не переписывались. В начале семидесятых годов вернулся я к давним, еще студенческим своим интересам и начал писать книгу "Как создавался "Тихий Дон". Новые материалы нужны были теперь, как воздух, и я решил вновь съездить в Вешенскую. Написал об этом Михаилу Александровичу, получал лаконичные письма, в которых время встречи переносилось:

"Мне трудно сказать, как будет со временем у меня в июле. Напиши в конце июня, и я тебе сообщу", — писал он 14 мая 1973 года.

"Поезжай прямо в родные края. Я не смогу увидеться с тобой до конца года. Этак что-нибудь в ноябре, декабре, не раньше", — сообщал писатель в следующем письме от 19 июня 1973 года.

Тревожное письмо пришло из Вешенской 13 ноября 1973 года: "Болен. Никого не принимаю. Так что о приезде в Вешенскую в этом году нечего и думать. Напиши где-либо в начале лета, тогда сговоримся. Шлю привет. М. Шолохов."

Вскоре я и сам заболел и не смог даже в Москву поехать на семидесятилетие Шолохова. Доходили до меня слухи и о его серьезной болезни, о первом инсульте...

Значительная часть книги о творческой истории “Тихого Дона” была к этому времени написана, но я не считал себя вправе публиковать рукопись без просмотра ее писателем. Заинтересовано в этом было и издательство. Из Вешенской 4 января 1977 года пришла телеграмма: “Присылай рукопись. Приветом. Шолохов”. Рукопись я вскоре послал, терпеливо ждал замечаний, был бы рад любому слову, но знал, что писатель болен. Утешением могло служить лишь одно обстоятельство: если бы Михаил Александрович возражал против публикации, он бы не стал скрывать это возражение, высказал бы его. Книга пошла в производство, а в начале 1980 года вышла в свет, и тут же была послана с поклоном в Вешенскую.

Еще до выхода в свет книги “Как создавался “Тихий Дон” ранней осенью 1978 года я вновь побывал в Вешенской, но Шолохова застал уже тяжело больным. Поездка эта была для меня неожиданной.

Загодя приехал я на юбилейную научную конференцию по творчеству А. С. Серафимовича в город его имени, бывшую Усть-Медведицкую станицу. Это почти родные мои места, с детства тянутся сюда многие нити, а когда ехал через придонские степи, на сердце теплело. И вспомнилось, как говорил мне Михаил Александрович: “Ты же степнячок!”

Неожиданно открылся Дон и заброшенный на крутой и высокий обрыв городок на излучине. Тут совсем грустно запахло родной моей слободой, ушедшей теперь на дно Волги. И ходил я по улицам этого городка, как по улицам своего детства. Слушал рассказы старожилов, рассматривал дом Филиппа Миронова, командарма 2-й Конной, уроженца этой станицы, познакомился с тем, что собрали об этом легендарном земляке устроители народного музея, и вновь передо мной развертывались знакомые по “Тихому Дону” картины гражданской войны, трагичные по накалу, как и судьбы людей того времени.

Грехно было, оказавшись так близко от Вешенской — совсем рядом, рукой подать! — не побывать в ней, не навестить больного

писателя. Работники музея Серафимовича очень помогли мне, раздобыли газик, попросили пригласить Михаила Александровича на конференцию.

Значительную часть пути мы ехали по над Доном, чуть ли не древним гетманским шляхом, и я имел возможность насладиться красотой и величием тихого Дона, разливом устьев Медведицы и Хопра, а когда отвернули в степи, их беспредельностью, осенним умиротворением. Ехали и самой кромкой Дона, по гальке, так, что волна лизала резиновые подошвы газика, останавливались в хуторах и станицах, а когда вышли в степь, машина, словно пугаясь неодолимых просторов, стала бешено набирать скорость. Открывшийся взору мир напоминал созданные Шолоховым образы. Многое в нем дышало и неожиданными переменами, и оттого рождалась в душе тоска.

Редкие на пути станицы и хутора постарели, дома съежились, стали серыми, а в Усть-Хоперской зияли пустыри, провалы между домами. Чаще встречались ветхие старики и старухи, старое старились, что-то навсегда уходило в прошлое. Не радовало и то, что увидели в степи — она была распахана до самого неба, не оставалось, кажется, даже заросшей травой тропинки. И еще что настораживало: ни жилья человеческого, ни людей не видно, тосковала в одиночестве на многие версты развороченная, истощенная земля.

Вешенскую я совсем было не узнал поначалу. Песчаные улицы оделись в асфальт, появились городские многоэтажные дома, даже казачьи курени обложены белым кирпичом, покрыты шифером, красной черепицей, даже казачки в джинсах, в модном дефиците. А на краю хутора Калининского, чуть ли не там, где мог быть курень Мелеховых — поселок газопровода "Дружба", заселенный чехами и словаками... Кажется, только дом Шолохова и остался на старом месте, был он в глубине сада, утопал в пыльной зелени. Сплошной зеленый забор одряхлел, стал ниже, а у знакомой калитки не было уже приветливого милиционера...

Трудно было узнать и больного писателя...

* * *

Несколько лет промелькнуло стремительно. Михаила Александровича, совсем уже больного и не покидавшего своего дома, много раз показывали по телевидению. Обычно он сидел молча, курил, как-то вымученно улыбался, когда руководство Союза писателей оказывало ему по большим праздникам какие-то знаки внимания. Если он говорил, то медленно, с трудом. Не мог я смотреть на такого Михаила Александровича, демонстрации эти казались мне кощунственными.

И все-таки смерть подкралась неожиданно, хотя в газетных известиях смерти следовали одна за другой. Я был в это время в Москве, жил в гостинице МГУ. Февраль в столице выдался промозглым, в гостиничке нашей дуло во все щели, я простудился и слег. А на Дону в тот год февраль был совсем лютым. Не раз приходило на память полное жизни и всегда тревожное шолоховское описание: "Февраль... Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи — как переспелые арбузы — в змеистых трещинах... Тополя над речкой все серебряного чекана... Полночь так тиха, так вымороно студеное небо в зыбкой россыпи многозвездья, что кажется — мир покинут живым..."

Утром открываю газету и вижу портрет Михаила Александровича в траурной рамке. Первое решение — бежать за билетом на самолет. Но болезнь вносит свои коррективы...

Вернувшись из Москвы домой, нашел на письменном столе телеграмму из Вешенской с тронувшим меня известием — в могилу Михаила Александровича легла горсть земли и от меня.

Вехи пути заслуженного деятеля науки,
доктора филологии, профессора
Гуры Виктора Васильевича

- 1925, 1 июня** — родился.
- 1941** — поступил в Саратовский государственный университет.
- 1942** — призван в армию, направлен в артиллерийское училище.
- 1943** — окончил училище, направлен на фронт.
- 1944, 31 января** — ранен, лечится в разных госпиталях.
- 1944, 22 мая** — приезжает к новому месту службы, участвует в боях с германскими и японскими милитаристами.
- 1946** — демобилизован в чине старшего лейтенанта, награжден двумя орденами Красной Звезды, продолжает прерванную учебу в университете.
- 1949, 4 августа** — окончил университет с отличием.
- 1949, 15 августа** — принят на работу в Вологодский педагогический институт.
- 1953** — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
- 1956** — стал членом Союза писателей СССР.
- 1968** — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.
- 1970** — утвержден в звании профессора.
- 1971** — награжден орденом Трудового Красного Знамени.
- 1975** — награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени в связи с 50-летием.
- 1979** — награжден медалью К. Д. Ушинского.
- 1991, 17 ноября** — скоропостижно скончался.

Из библиографии

1. Времен соединенье. Архангельск, 1985.
2. Евгений Пермяк. Критико-биографический очерк. Москва, 1962; 2-е изд. — 1982.
3. Жизнь и книги дяди Гиляя. Вологда, 1959.
4. Жизнь и творчество Шолохова. Пособие для учителя. Москва, 1955; 2-е изд. — 1960.
5. Из родников жизни. (Литературно-критические очерки о писателях-вологжанах). Архангельск, 1964.
6. Как создавался “Тихий Дон”. Москва, 1980; 2-изд. — 1989.
7. М. А. Шолохов. Библиографический справочник. Саратов, 1950.
8. М. Шолохов. Жизнь и творчество. Выставка в школе. Москва, 1964; последующие издания: 1975, 1980, 1985.
9. М. А. Шолохов. Семинарий. Ленинград, 1958; 2-е изд. — 1962 (в соавторстве с Ф. Абрамовым).
10. Правда жизни и мастерство художника. Москва, 1965.
11. Роман и революция. Пути советского романа, 1917—29. Москва, 1973.
12. Русские писатели в Вологодской области. Вологда, 1951.

Здесь названы только книги В. В. Гуры. Более полный перечень его работ читатель может найти в специальном издании: “Виктор Васильевич Гура. Библиографический указатель. Вологда, 1984.”

Отец писателя – Василий Гаврилович.



Мать писателя – Анна Андреевна.

Лейтенант молодой..."



Июль — сентябрь 1944 г.



Саратов. На встрече писателей и ученых с Константином Федином (во втором ряду крайние справа налево — профессора Е. И. Покусаев, А. П. Скафыров, Ю. Г. Окспман)



С однокурсницами



С писателем Федором Абрамовым



Второе областное совещание писателей-вологжан (1950 год).



Виктор Гура в молодости.



Это все — это семья.



— Вы все пишете рассказы. А на роман не замахнетесь?
(с писателем Сергеем Антоновым в 1960 году).

С сыном в Коктебеле



Фотография на память (В. М. Малков, К. И. Коничев, В. В. Гура).





Это было, когда в Вологду приезжал Константин Симонов.



Москва. Кремль. Съезд писателей России. 1965 год.

"На златом
крыльце
сидели..."
(На даче в
Дулепове в
1974 году).



"Не
перевелись
еще грибы
в Дулепове!
(С профес-
сором
Е. П. Ники-
тиной,
товарищем
по универ-
ситету).



В. В. Гуров



...И вновь запросятся перо
к бумаге.





СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Гура. О предках, друзьях-товарищах и о себе.</i>	3
Воспоминание друзей	13
<i>Олег Шайтанов. Он умел зажечь других.</i>	14
<i>Александр Романов. На молодых высотах.</i>	15
<i>Юлия Бабичева. Энергия памяти.</i>	21
<i>Николай Соловей. Добрые дела.</i>	28
<i>Павел Куприяновский. Вспоминая Виктора Васильевича.</i>	34
<i>Гурний Судаков. Люди были ему интересны.</i>	39
<i>Владимир Пудожгорский. Глазами студента.</i>	41
<i>Ирина Гура. Я помню его разным.</i>	43
<i>Александр Сукинцев. Филфак на площади Революции.</i>	54
<i>Тамара Беседина. О товарице и друге.</i>	64
<i>Клавдия Шилова. "Узнавание" до встречи.</i>	72
<i>Сергей Осьмак. Земляк, друг, однополчанин.</i>	76
<i>Евгений Калмановский. Сквозь десятилетия.</i>	79
<i>Джанна Тутунджян. Как будто вчера.</i>	84
<i>Юрий Леднев. Он был большим ребенком.</i>	87
<i>Иван Полуянов. Уха в чайнике.</i>	90
Письма в Вологду В. В. Гуре	96
Как создавался "Тихий Дон"	149
Из творческого наследия	166
<i>Верькино детство</i>	167
<i>Издали и вблизи (о Шолохове)</i>	221
Вехи пути	263
Из библиографии	264

**ВИКТОР ГУРА —
УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ**

Технический редактор *Н. И. Тимонова*
Корректор *И. А. Головина*

Сдано в набор 14.05.96 г. Подписано в печать 22.06.97 г.
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Гарнитура Академическая.
Бумага писчая. Усл. печ. л. 16,3. Тираж 250 экз.

Издательство Вологодского института повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров
160012, г. Вологда, ул. Коаленская, 114.

